



Эркин Агзамов

ОТВЕТ

Перевод И. Цесарского

Ответ: /Сборник/: Пер. с узб.— Т.: Изд-во лит. и искусства, 1987.— 448 с.



Эркин Агзамов родился в 1950 году.

Закончив Ташкентский университет, работал на радио и в республиканских журналах. Был участником VII Всесоюзного совещания молодых писателей в 1979 году.

Ныне Э. Агзамов — автор прозаических книг «Ночь негаснувших огней» (1977), «Год рождения Атаи» (1981), «Голубой мир» (1983), «Ответ» (1986).

Рассказы его переводились на языки народов СССР, а также за рубежом.

За сборник «Год рождения Атаи» Э. Агзамов удостоен в 1982 году премии Ленинского комсомола Узбекистана.

Он переменялся внезапно, у всех на виду. Да так, что сам на себя стал не похож. Ну, скажите на милость, разве этот человек — Нуриддин Эльчиев? Впрочем... для знакомых и сослуживцев он по-прежнему «Нуриддин Эльчиевич» или «товарищ Эльчиев» — кому как больше нравится, а для семьи — отец и муж. Но нет, нет, — и аллах тому свидетель! — он уже не прежний Эльчиев. Он другой, совершенно другой. А того, что раньше был, уже нет, тот — раздавлен, и надо бы ему рассказать сейчас обо всем, но как? Как?!

Время, понятно, меняет человека: меняет и внешность его, и привычки, и взгляды. Но сущность... сущность-то неизменна. Взять ту же совесть: либо она есть, либо нет. Можно, конечно, жить под той или иной личиной, пускать, как говорится, пыль в глаза. Только надолго ли хватит?..

Да, но что все-таки произошло с Нуриддином Эльчиевым? С прежним Эльчиевым?

Людей вроде Эльчиева вы встретите в любом порядочном учреждении. Вы увидите их скромно сидящими в зале заседаний — для массовых сцен необходимы люди! — поднимающих, когда положено, руки, аплодирующих правильным речам; и пусть отведена им скромная роль статистов, без них мертво емкое понятие — все.

При распределении путевок и прочих благ о таких вспоминают крайне редко. Другое дело, если на голову свалилась беда и срочно требуется помощь. Здесь эти люди — надежные и бескорыстные — незаменимы. Кто-то неделями не показывается на службе — и ничего, а такому достаточно отлучиться на час-другой, чтобы вы почувствовали: кого-то рядом недостает.

У них свое место, пусть скромное и незначительное, но — свое!

Итак, жил в большом городе человек по фамилии Эльчиев. Утром шел на работу, вечером — с работы, чи-

тал газеты, охотно садился за шахматную доску, был сверх меры общителен, просто минуты не выдерживал в одиночестве. Бывало, после работы заглядывал с сослуживцами в кафе, что напротив. Там всегдалюдно, шумно и дымно, но то — не помеха, особенно если он, Эльчиев, в ударе. Как признанный тамада, заводит он традиционную аскию¹, заставляя соседей по столу смеяться до упаду, и сам хохочет громче всех. В общем, весельчак, душа-человек.

Если затевается в чайхане плов — идут за Эльчиевым. И знают, он все будет делать сам: дрова наколет и подбросит их в очаг, нарежет морковь, промоет рис... От помощи откажется — своим рукам больше доверия. И если кому-то такие обязанности в тягость, для Эльчиева они — в порядке вещей, берется он за них без чьих-либо понуканий, по доброй воле. Окружающие к этому привыкли, и если вдруг не оказывается его на своем месте, удивляются, а то и упрекают. И нет человека, который задался бы вопросом, а почему, собственно, Эльчиев? Почему именно он? Отчего повелось — как застолье, так черновую работу — Эльчиеву? А все просто: для них Эльчиев есть Эльчиев и никем иным быть не может, потому что он Эльчиев! Да и сам он давно привык к этому. Случается, найдет на него хандра, и хочется тогда ему бросить все к чертовой матери. Но как посмотрят на это другие? Да и что, в конце концов, такого, если он похлопочет лишний раз?!

Никогда Эльчиев не роптал на свою судьбу. Он принимал жизнь как она есть, довольствуясь малым и не бегая впоыхах за чем-то большим. По натуре скромный, лишенный нахальства и напористости, он уже долгие годы занимал одну и ту же должность, тогда как некоторые, толком и не поработав, уверенно обходили его по службе. Стоило такому новоиспеченному начальнику опуститься в мягкое кресло, он тут же начинал заговаривать с Эльчиевым свысока, обременять его служебными и неслужебными поручениями. Всякий раз Эльчиев удивленно вскидывал брови: «Вот же как бывает!» — и брался — а что делать? — за работу. И всем он нравился именно таким: скромным и исполнительным. А что там у него на душе? В сущности, какое это имеет значение!

И у себя дома он был точно таким же: надо, так он

¹ Аския — остроумная шутка-экспромт.

и посуду вымоет, и сыну брюки погладит, не видя в том ничего зазорного. А вот чего не выносил, так это мелких ссор да скандалов, предпочитая им добрую шутку и задорный смех. Соседи завидовали миру и согласию в доме Эльчиных.

Еще любили Эльчины принимать гостей. Повод для их приглашения всегда найдется: дочь институт окончила, старший сын из армии вернулся, младший — похвальную грамоту получил. Угощение у них всегда на славу. Здесь и тандыр-кебаб, и гранатовый сок, и полон стол жареного и печеного. Гости уплетают все за милую душу, а про себя, возможно, усмеваются: «Чудак-человек, в квартире телевизора нормального нет, а он такие деньги — на ветер!»

И вот этот человек внезапно переменялся: замкнулся в себе, стал хмур и неразговорчив. Во взгляде его — прямом и открытом — появилось какое-то виноватое выражение. Ну разве по нему такая жизнь?

И он решился...

Впрочем, кое-что до этого произошло...

* * *

— Камалиддин, что с вами?

Три дня, как вернулось к нему сознание. И три дня он молча лежит, положив руки под голову, и смотрит в потолок, а как только в дверях палаты появляется знакомое лицо, отворачивается к стене. Невыносимо больно, что приходят к нему, живому...

Зачем, зачем он остался? Почему не ушел? Ведь должен был уйти. Должен! Уйти безвозвратно! Как все надоело! Зачем, зачем же вернули его к этой постылой жизни?

— Камалиддин, что с вами?

Это первое, что он услышал, очнувшись. Слово издали доносилось тихий плач и это жалобное: «Камалиддин, что с вами?»

Он с трудом разомкнул ресницы: у изголовья сидела женщина и теребила в руках носовой платок. В покрасневших глазах женщины застыли, искрясь на свету, слезы.

В прежней жизни он хорошо знал эти глаза...

— Что с вами, Камалиддин?

Будто не минуло сто-оляко лет, сто-оляко событий... По-прежнему Нуриддин и Мастура привычно называ-

ют друг друга именами старших своих детей: она е: Камалиддином, а он ее — Джасурой...

...В те годы он был просто Нуриддином, неотесанным, кишлачным пареньком с острыми плечами и выширающими лопатками. С другом детства и юности, а потом сокурсником Хайдаром снимали они комнату на улице Арпапая. Хозяевами была у них немолодая чета парикмахеров — люди замкнутые, но в общем, славные, работающие. Ни минуты не посидят без дела, то в доме наводят порядок, то во дворе, то в курятнике. К квартирантам, однако,— ни ногой, платят исправно — и ладно. Неназойливость хозяев была очень кстати, тем более что комната у ребят находилась в отдельной постройке, прямо у ворот, и наведываться к ним могли односельчане, учившиеся, как и они, в Ташкенте. Именно здесь справлялись дни рождения, устраивались большие и малые застолья.

Было время... Бурлит и пенится быстротечная река жизни, мир вокруг таинственен и переливается всеми цветами радуги. Душа города — Бешагач; неспокойный пульс старой площади; в зелени утопает двор финансового института; подсвеченный вечерними огнями театр Мукуми, красочные афиши спектаклей «Тахир и Зухра», «Лейли и Меджнун»; Комсомольское озеро, шумный парк, незатихающие карнавалы, фестивали, концерты, которым, кажется, нет конца; раздуваются по ветру модные по тем временам мешковатые брюки и просторные украинские рубахи с вышивкой... Попробуйте появиться сегодня в таком наряде — засмеют. А тогда, тогда без него, как сейчас — без джинсов и кроссовок. Нуриддин тоже щеголял в такой рубахе, — деньги заработал на сборе хлопка, — и в брюках, подаренных ему братом в честь его поступления в институт. И не беда, что все висело на нем, как на вешалке, и что волосы, жесткие и непослушные, никак не зачесывались назад. Многие так ходили, и он ходил, чувствуя себя этаким франтом. Когда-то ходил! Теперь воспоминания об этом более похожи на чудесный, но, увы, скоротечный сон. Разве что старая кинолента о чем-то напомнит, что-то оживит в памяти...

Нет, и в те времена жизнь не казалась, да и не была сплошным праздником. Были в ней свои тревоги и огорчения. Все было. Но сегодня тогдашние хлопоты и переживания кажутся милыми пустяками, имеющими даже сладостный привкус. На то и молодость...

Однажды ранней весной Нуриддин, заключив пари две пачки «Беломора», смело бултыхнулся в Анхор. Першился спор сильной простудой и двухнедельным щельным режимом. Температура у него бешено скакала, голова буквально раскалывалась...

Пропотев после очередной дозы аспирина, он пролся и, открыв глаза, увидел перед собой девушку. а вот так же сидела на краешке стула...

— Что с вами, Нуриддин?

Сколько воды утекло с тех пор! Тот же голос, тот же прос... Только вместо «Нуриддина» — «Камалиддин».

Она подогрела ему машхурду — машевый суп, на ормила, а потом они поболтали за чаем о том о сем. И странное дело, он почувствовал себя как-то лучше. Но того, что это посещение Мастуры (так звали эту добрую пери) не случайно, он, кажется, и не заметил. Может, виной тому — болезнь, когда ни до чего нет дела? Да и что тут такого особенного — узнала, что товарищ болен, и пришла проведать. Вообще она такая душевная, общительная, разговаривать с ней — одно удовольствие. Недаром у нее столько поклонников. Но разве оказывала она кому-либо из них такие знаки внимания, как Нуриддину. Что поделал, в молодости мы многого не видим, многого не замечаем. То, что девушка к нему равнодушна, он понял куда позднее, когда Хайдар уже прожужжал ему на этот счет все уши, и когда он, наконец, разгадал лукавые взгляды ее подруг. И ему осталось лишь признаться себе, что он тоже равнодушен к этой хрупкой и беззащитной на первый взгляд девушке.

Мастура одевалась скромно, быть может, даже скромнее своих подруг, но всегда со вкусом. Все, что бы она ни надела, необычайно шло ей и неизменно выделяло ее среди остальных девушек. И красота ее, хоть и неброская, чем-то привораживала, — в те времена о женской красоте судили в большей степени не по одежде!

После лекций влюбленные выходили из институтского двора и шли вдоль трамвайной линии к скверу Революции. Правда, до наступления темноты Нуриддин чувствовал себя скованно; любопытные, как ему казалось, взоры прохожих действовали на него удручающе: он краснел и покрывался холодным потом, говорил что-то невпопад или вовсе умолкал. Лишь когда опускались на город сумерки, Нуриддин успокаивался, распрямлял плечи и брал Мастуру под руку. Улица Карла Маркса,

в те годы оживленная и разноликая, знаменитый книжный магазин, Центральный универмаг... Сколько раз проходили они туда и обратно, заглядывая по пути в магазины,— они стали завсегдатаями этой улицы. А еще был парк...

Этот парк на Комсомольском озере славился не только фестивалями и молодежными гуляниями. Особую репутацию создавали ему бешагачские хулиганы, от которых не было никакого спасу. Влюбленных тут нередко поджидали сюрпризы... И к Нуриддину как-то пристали. Он не струсил, подравшись с грозой Бешагача Анваром-Паханом, и тому это понравилось. С того самого дня Нуриддин пользовался особым покровительством Анвара-Пахана и мог гулять с Мастурой везде, где им заблагорассудится.

В тот летний день они вышли из института и пошли привычным маршрутом, минуя театр. Вдруг кто-то окликнул их. Обернулись и опешили: на низком стульчике у ларька с квасом, скрестив ноги и держа в руках пустой стакан, сидел человек в сдвинутой на самое темя чустской тюбетейке, украинской рубашке с высоко закатанными рукавами и широких брюках. Они, конечно, сразу узнали его. То был поэт, знаменитый поэт. Они глядели на него, не веря своим глазам, а он, улыбаясь, махнул их рукой:

— Что же вы встали? Подойдите, молодые люди...

Парень с девушкой несмело двинулись к нему. Поэт привстал, вытер губы и поздоровался с обоими за руку. Затем повернулся к продавцу, облокотившемуся на прилавок и утопившему круглый подбородок в мокрых ладонях.

— Эй, Мише, налей-ка пару кружек! Лей, не жалея, дорогой! Знаешь ли ты, кто они? Не знаешь! Потому что ты сиднем сидишь в своей будке и знаешь только одно— дурить стариков вроде меня. Они — наше будущее, квасходжа. Запомни, будущее!— Протянув молодым людям по полной кружке, поэт хитро подмигнул Нуриддину.— Дочка-то наша, видать, ташкентская,— только промолвила словечко, а я уже понял, что она с Мирабада или Камалана. Отца ее, конечно, не знаю, но подозреваю, что он учитель. Верно?.. А ты, парень, откуда будешь?— спросил строго, будто для протокола.

Нуриддин растерялся и проямлил в ответ что-то невразумительное.

— Что ж так несмело?— рассердился поэт.— Во весь

голос говорит, льбенок, что с родины Алпамыша! Говори, что ты сын гор, что продрался сквозь острые, неприступные скалы. Кунградские или Чигатайские?.. Надо же, она из большого города, а он — с горных вершин! Значит, Фархад спустился в долину за своей Ширин? Молодец, молодец. Так держать, Фархад! И помни, сокол не сокол, если не стремится к вершине!

Он вдруг крепко сжал Нуриддину локоть:

— Честно скажи: любишь?

Нуриддин смутился, опустил глаза.

— Любишь, по глазам вижу, — удовлетворенно произнес поэт. — Любит он тебя, дочка, и это замечательно. Идите и будьте счастливы!

Сказал, словно благословил.

Можно ли забыть эти слова?

И снова пришла весна...

«Мы с бабушкой хотели немного прибраться во дворе, — как-то сказала ему Мастура. — Не помогли бы вы с Хайдаром в это воскресенье?» Так впервые очутился Нуриддин в доме на Караташе, где жила Мастура со своей бабушкой. О бабушке он был, естественно, слышан, но никак не ожидал увидеть столь живую, подвижную старушку. И встретила она их так, будто знала с рождения: шутками да прибаутками. А за чаем вовсе сразила друзей, прочтя на память несколько газелей из Кувайдо.

Работа оказалась пустячной, и с ней быстро управилась. Когда двор был очищен, бабушка вспомнила про виноградник. Нуриддин принес лестницу и залез подвязывать к жердям лозы. Хайдар отошел в сторонку и возобновил шуточный разговор со старушкой, а Мастура осталась помогать. Она подавала обрывки шпагата, Нуриддин завязывал. Она приподнималась на цыпочках; глаза, нежные белые руки, все тело ее устремлялось к нему, и Нуриддин, наклоняясь, словно бы встречал девушку с распростертыми объятиями.

А ночью он закрывал глаза, и ему виделись опрятный дворик с черной шелковицей посередине, улыбочивая старушка, томящийся в казане плов... Но даже в самых дерзновенных мечтаниях не мог он предположить, что эта старушка и дом ее станут для него родными.

«Вы понравились моей бабушке, — сказала на другой день Мастура. — Она вас хвалила. Говорит, вы такой спокойный и рассудительный, не то что ваш приятель».

Эти слова стали поворотными в судьбе Нуриддина. Майским вечером (бабушка уехала в Паркент к младшей дочери) Мастура пригласила домой Нуриддина и нескольких сокурсников, и они славно провели время. Оставив гостей, влюбленные до рассвета просидели на скрытой зелены супе, поверяя друг другу самые сокровенные тайны. Большею частью говорила Мастура. Она рассказала о матери, которая умерла при родах, когда Мастуре не было и двух лет, об отце, женившемся вскоре после этого вторично. Теперь у него была новая семья, должность, положение; Нуриддин даже присвистнул, когда Мастура назвала его имя. Кто же не знает этого человека? С отцом они виделись редко: он сам приезжал раз или два в году, соскучившись, и всегда ненадолго. Бабушка не очень-то одобряла их общение.

Слезы капали из глаз девушки, и Нуриддин пробовал ее успокоить, но где там!

Потом были другие такие ночи и рассветы...

Народу на их свадьбе собралось немного, в основном молодежь — однокурсники, его друзья-односельчане. Пришли также ближайшие соседи да несколько родственников невесты по материнской линии. Родных жениха не было; там, в кишлаке, весть о женитьбе Нуриддина встретили негодующие. Отец с матерью, недовольные его самоуправством, припомнили о давнемговоре. Он ведь должен был взять в жены дочь своего троюродного дяди; не беда, что бедняжка еще заплетала косички, дожидаясь его возвращения...

Но так или иначе, а все свадебные расходы легли на плечи молодых. Стол богатым назвать было нельзя, и начало свадебного застолья было каким-то приглушенным. Однако потом все стало на свои места и свадьба вышла похужей на свадьбу. Особенно старался Хайдар, которому была отведена роль главного распорядителя. Он успевал повсюду, развлекая гостей и трогательно опекая молодоженов. Тогда ведь его еще не величали Хайдаром Самадовичем!

В полночь, когда веселье пошло на убыль, приехал с друзьями старший брат жениха Наджмиддин и, конечно, не с пустыми руками! Застолье, было угасшее, разгорелось с новой силой...

Окончив институт, Нуриддин остался в городе. Дружная семья, работа по душе, что еще надо? Он не показывался в родном кишлаке года два, два с половиной, но

потом все-таки приехал на свадьбу сестреники, а потом — на поминки близкого родственника. Его старики, примирившиеся с женитьбой сына, — а что делать? — уговаривали молодых перебраться в кишлак. Но разве могли они бросить на произвол судьбы старую бабушку Мастуры?

Бабушка умерла незадолго до памятного ташкентского землетрясения. Дома, хранившего о ней память, тоже в скором времени не стало, его снесли, а они получили квартиру на Куйлюке. Домашние хлопоты, забота о растущих детях — куда уж там было трогаться с места!

Слишком многое теперь связывало его с городом, слишком глубоко были пущены корни. Он и не представлял себе другой жизни, хотя, будучи иногда не в духе, упрекал жену: «Из-за тебя, неженка, столько лет живу вдали от родного дома».

Односельчане считали его, как видно, большим человеком. Но стоило ему появиться в родном кишлаке, друзья-товарищи начинали подбивать клинья: «Когда же вернешься? Для тебя здесь всегда местечко отыщется. Может, не такое, как в городе, но скучать не придется». Он обыкновенно отшучивался, а сам почему-то вспоминал своих более удачливых сокурсников. Один заведовал райфинотделом, другой был начальником статуправления, третий — управляющим банком. О Хайдаре — теперь уже Хайдаре Самадовиче! — и говорить не приходится.

А ему не повезло — как был, так и остался рядовым инспектором. «Фирма» его хотя и республиканская, да утешение небольшое. Что толку в звучной вывеске, коли он сам — мелкая шестеренка в огромном механизме. Каждый, конечно, скажет, что Эльчиев — трудяга, что знает дело, как свои пять пальцев; казалось бы, все на месте, а чего-то для дальнейшего продвижения все-таки не доставало. Может, какого-то невидимого чужому глазу толчка? Впрочем, лет десять назад тогдашнее высокое начальство предлагало ему солидное место в областном банке. И это было как гром среди ясного неба. Тогда-то и ощутил Эльчиев, каков он есть, этот таинственный толчок. Ну, конечно, то было дело рук тестя, постаревшего, вышедшего в отставку, но по-прежнему почитаемого и многое могущего. Тесть незадолго до того заявился с дорогими подарками, чтобы, наконец, познакомиться с избранником дочери да поглядеть на внучат.

Обескураженный этим внезапным предложением,

Эльчиев поспешил за советом к жене. Мастура, умица Мастура, чуточку похожая на мужа, быстро разрешила его сомнения: «Оставьте вы эту затею! Мы, слава богу, сыты и одеты. Я знаю отца — всю жизнь потом будет каяться. И чего это мы вдруг ему понадобились?!»

На другой день Эльчиев вежливо отказался от заманчивого повышения, сославшись на слабое здоровье и попутно заметив, что нынешней работой вполне доволен. Так и закрылся для него вопрос служебной карьеры.

А жизнь шла своим чередом. По-прежнему жили они с Мастурой душа в душу, жена была его надежным спутником. И пусть давно минула молодость, — нежная привязанность, забота друг о друге сохранились. Правда, бывало, что их отношения напоминали своей неустойчивостью весенний ветер.

Случилось это сразу после переезда в новый дом. Привыкая к квартире и к уличному пейзажу, Эльчиев надолго застревал у окна. За окном был виден кусок необжитого двора с недавно воткнутыми в землю саженцами и торец соседнего дома. Каждый вечер в одном из окон того дома показывалась девушка, а быть может, молоденькая женщина, и, завидя Эльчиева, приветливо махала ему рукой. Он кивал ей в ответ. Постепенно они привыкли к такому общению, и Эльчиев стал с нетерпением поджидать каждого нового «свидания» с незнакомкой. Он мучился, стыдясь своего увлечения, но ничего не мог с собой поделать — в положенное время его вновь, как магнитом, притягивало к окну. Ох, уж эти увлечения! Мужчина, отец четверых детей, как мальчишка, теряет голову. Он упорно искал с ней встречи: выходил утром на работу пораньше, задерживался на автобусной остановке вечером. Но мимо проходили женщины, мелькали быстроногие девушки, а «той» все не было. Отчаянно жестикулируя, он просил у нее встречи, а она, прижавшись к стеклу лбом, лишь улыбалась.

Однажды, когда он в очередной раз занял излюбленную позицию у окна, за спиной его раздался голос жены: «Ах, она говорит, что любит вас больше жизни! И вы ей поверили?! Надо же!» Обернулся, — жена смотрела на него, выставив подбородок, и нервно улыбалась. И что было в этой улыбке — жалость, любовь? А может, злодство?

Поймала, а теперь рада его замешательству? Жена

вдруг показалась ему лютым врагом, он увидел в ней само воплощение женского коварства и чуть было не кинулся на нее с кулаками. И что за дурацкое изобличение?! А Мастура стояла перед ним с тлеющей на губах непонятной улыбкой — кроткая и беззащитная...

С той поры Эльчиеву совестно вспомнить эту историю. Бывает, подойдет к окну и припомнит про то глупое увлечение. И вновь его мучает так и неразгаданная загадка: почему Мастура тогда улыбалась? Ни скандала, ни истерики — одна улыбка! Досадуя на себя, он поспешно отходил от окна...

А Мастура никогда не напоминала ему о той истории, ни словом не попрекнула. Уж лучше бы сказала! Как мучительно ждать той секундной вспышки, когда затаенная обида выльется наружу! И страх, что это когда-нибудь случится, не давал ему покоя.

Да, он, между прочим, не ангел! Был у него кратковременный роман с молоденькой Василей, работавшей тогда в соседнем отделе. И попробуй скрыть, если слух об этом прошел сквозь продырявленные уши хайдаровской супруги. О, та прямо оживает от таких слухов! Тут же позаботилась, чтобы обо всем узнала Мастура, и, конечно же, наплела ей с три короба. А когда Эльчиев стал оправдываться, жена досадливо отрезала: «Не вмешайтесь, пожалуйста, в бабьи сплетни!» И все...

Попробуй пойми женщин! Пришел как-то с работы, а Мастура сидит у раскрытого сундука и, плача, прижимает клицу его старую рубашку с вышивкой. И бесполезно о чем-то спрашивать. Пожмет плечами, так, мол, нашло...

До сих пор он не понимал, как та девушка могла стать его женой, его половиной?! Что побудило ее остановить свой выбор именно на нем, Нуриддине Эльчиеве? За какие его достоинства? Наверное, он неплохой человек, и тот Нуриддин был неплохим парнем, да мало ли неплохих людей вокруг?

Он старался избегать подобных мыслей, но ему никак не удавалось избавиться от мучительных сомнений. Временами ему казалось, что за всем этим кроется какая-то тайна, и он порывался даже спросить у жены напрямик: «Почему ты вышла за меня? Почему живешь под одной крышей с обыкновенным неудачником? Ведь я не достоин тебя!»

Вот она сидит, та самая Мастура, и не верится, что позади уже двадцать пять лет. Она снова, как и два ме-

сяца назад, когда он попал сюда, в отделение травматологии, из-за того злосчастного случая, сидит у его изголовья. И тогда она была рядом, сутками дежурила у его постели. Удивительная женщина! Даже дети, и те остались в неведении, мол, был отец слегка пьян и, выходя из автобуса, упал и расшибся...

Какая бездна любви и терпения в этой хрупкой женщине! Откуда они в тебе, Мастура? Чем я заслужил такое отношение? Ну что, в самом деле, ты видела со мной? Что?! Однако ты со всем была согласна и благодарила судьбу за то, что есть. Говорила: пусть дети подрастут и будут здоровы, остальное — потом. А потом были те же бесконечные хлопоты по хозяйству, забота о подросших детях. Но ты... ты, кажется, всегда была счастлива. Может, ты из железа, Мастура? Ты хотя бы раз подумала о себе! А теперь вот я лежу пластом, не смея взглянуть тебе в глаза, опять ставший тебе обузой...

— Камалиддин, что с вами?

Он с трудом разомкнул ресницы, у изголовья сидела женщина и теребила в руках носовой платок. В ее покрасневших глазах застыли, искрясь на свету, слезы. А на виске серебрится прядь.

Он повернулся лицом к стене и закрыл глаза. И снова то ужасное видение. Нет, нет, это всего лишь сон, кошмарный сон!

Два месяца тому назад он лежал в этой же, так называемой «палате катастроф», лежал почти три недели. И, кроме жены, никто в точности не знал, что с ним. Потом он, конечно, обо всем рассказал. Сам рассказал. Возмущению сослуживцев не было предела. Одни, правда, успокаивали: чего в жизни не бывает? Другие, по характеру воинственные, советовали действовать безотлагательно. «Безобразия! — возмущались они. — Избить человека среди бела дня. За решетку их, гадов!» «Напишите в газету!» — советовали третьи.

Делать он ничего не стал, не по нему эта канитель, тем паче следственные органы возбудили дело. Возбудить-то возбудили, да толку мало, скорей, наоборот, над его собственной головой стали сгущаться тучи.

...В тот злополучный день они праздновали день рождения Бахрама. Сидели в закуской, пили за его молодость — парень работал без году неделя; за его энтузиазм — еще бы, вкалывал не покладая рук; за его поч-

тительное отношение к старшим — сразу видно воспитание; за его прекрасное будущее — далеко пойдет, раз хорошо начал. Сам Бахрам помалкивал, слушая эти медоточивые речи, и время от времени исчезал в магазине напротив, возвращаясь с оттопыренным карманом.

Бахрам был парень с понятием. Он бы и сам мог петь дифирамбы каждому из сидящих за столом, но этикет... Сегодня все-таки его день рождения, и к тому же он новичок, а новичку на первых порах надо больше слушать, нежели говорить. Иначе можно составить о себе невыгодное впечатление — так-то. Но из парня, по всему видно, выйдет толк, будет еще руководить — придет его время.

Застолье грозило затянуться, поэтому, когда старуха-уборщица выудила из-под стола очередную порожнюю бутылку, Эльчиев сказал: «Пора...» — и все нехотя стали подниматься. Ведь дай возможность, сидели бы до ночи.

Обменявшись на прощание рукопожатиями, Эльчиев зашагал, минуя парк, к метро. Вдруг на витрине одиноко стоявшего на углу ларька он увидел ровные ряды бутылок с ташкентской минеральной водой. Облизав сухие губы, он машинально нащупал в заднем кармане брюк авоську и свернул к ларьку. Страдая изжогой, он частенько пополнял свои домашние запасы минеральной водой.

Нет, не зря говорят: «рок», «судьба», не зря! Иначе разве родился бы Бахрам именно в этот день? Эльчиев как чувствовал, не хотел идти на это застолье (да и настроения из-за вчерашней выходки сына не было никакого), а все же пошел. И как назло эта «Ташкентская» оказалась на подсвеченной уходящим солнцем витрине, зазывно сверкая пробками. Все одно к одному. Короче говоря, от судьбы не убежишь, и чему быть, того не миновать.

Ведь если бы Бахрам не справлял свой день рождения, если бы Эльчиев не пошел с друзьями, если бы не увидел этих проклятых бутылок с минеральной водой (дома их, между прочим, девать некуда!), если бы не вступил в спор с продавцом, а спокойно прошел своей дорогой — не было бы этой напасти, этих тяжких испытаний. Да что говорить, если уж на то пошло, не навести его четверть века назад девушка по имени Мастура, а потом не пойдил он к ней домой на хашар, и не скажи она: «Вы понравились моей бабушке»; и не останься он ради нее в этом большом городе, и теперь не работай в

этом учреждении, и не ходи именно этой дорогой, и махни рукой на этот день рождения, и не пригуби стакан... Но тогда он был бы не Нуриддином Эльчиевым, а совершенно другим человеком! Поразительно, каждый шаг, каждый твой поступок тысячами нитей связан с другими! И нет тут случайности, то — судьба! Так в чем здесь вина Мастуры? В чем вина ее славной бабушки, душа которой, верно, бродит сейчас по райским кушам? В чем провинился бедный Бахрам, решивший в день своего рождения сблизиться с коллегами? И при чем тут город? Все это — отговорка, обыкновенная отговорка! Нет, ни с того ни с сего вода не потечет и костер не вспыхнет!

Продавец был молод, с аккуратной щеточкой усов. Приятный на вид парень. Но стоило ему заговорить, обнаружилось некое несоответствие между голосом и его приятной наружностью. Казалось, что говорит кто-то другой, скрывающийся за его спиной — грубый и нахальный, а он сам лишь беззвучно ему вторит.

— Ака, я же вам уже сказал — вода газированная! — выкатил парень наглые глаза.

— Вижу, что не пиво, — сказал Эльчиев, стараясь не горячиться. — Но стоит она, братец, не тридцать пять, а тридцать копеек. Запомни на всякий случай и верни мне сорок копеек.

— А эта по тридцать пять — в ней газа больше.

— Вот тебе и на! — с досадой проговорил Эльчиев. — Неужто и такую успели выпустить?! Пожалуй, этой газовой у меня и дома достаточно!

— Идите тогда и пейте!

— Дай мне жалобную книгу! — неожиданно для себя вспыхнул Эльчиев и стал нервно вытаскивать бутылки из сетки.

— Она у хозяина! Не морочьте голову и топайте отсюда подобру-поздорову!

— Позови сюда того хозяина!

К его удивлению, парень послушно исчез внутри ларька. Полминуты спустя он вернулся и пробурчал в нос:

— Вас самих просят, — и показал большим пальцем, куда пройти.

Обойдя ларек, Эльчиев уткнулся в гору из пустых ящиков, которая высилась до самой крыши. За ней он увидел четверых парней. Те сидели у ящика, застеленного газетой. На газете лежали куски вареной колбасы, копченой рыбы, соленые помидоры, а под ногами пар-

ней валялись пустые бутылки. Парни о чем-то живо спорили, не обратив на появившегося перед ними Эльчиева ровно никакого внимания. А он стоял и не знал, как и с кем заговорить.

— Эй,— глянул вдруг на него в упор плотный рыжеволосый парень, который сидел к нему ближе остальных, и потянулся за бутылкой «Столичной».— Выпьешь?

— Нет, я...— растерянно мотнул головой Эльчиев.

Тогда медленно поднялся тот, что был в синем вельветовом пиджаке — рослый и широкоплечий. Он вплотную подошел к Эльчиеву и грубо спросил:

— Что за книга тебе нужна, братан?— А потом в считанные секунды...— На тебе книгу! На, на!..

В глазах Эльчиева потемнело. Падая, он стукнулся головой о ступеньку ларька и зацепил ногой ящики, которые с грохотом попадали вниз и на него самого. Но страшной ящиков оказался град пинков, нет, не пинков, град посыпавшихся камней. От одного из ударов в спину внутри будто что-то оборвалось. Подумал отчего-то про очки: целы ли, не поранил ли случайно глаза? Эти очки—подарок дочери из первой ее полочки... Он посмотрел сквозь пальцы, которыми защищал лицо, и ужаснулся. Перед глазами стояла кровавая пелена. Мир виделся ему в крови, и это была его кровь из рассеченного упавшим ящиком лба. Он закрыл глаза и замер, словно испустил дух.

Сознание медленно угасало, осталось одно-единственное ощущение и один-единственный вопрос: камень, камень, камень... почему, почему, почему?.. камень, камень, камень... почему, почему, почему?

— Хватит, Шавкат, остановись! А то окочурится еще...

Обрывок той фразы застрял в его памяти: «Остановись! А то...» Кто? Который из них? Что ж, и на том тебе спасибо, благодетель...

Очнулся он в больнице. Весь в бинтах, в кровоподтеках, лицо зудит, левый глаз заплаыл — не откроешь. У изголовья сидит с поникшей головой жена, и веки у нее красные, опухшие...

— Что с вами, Камалиддин?

* * *

«Он сам, оказывается, был навеселе...»

Клевета — яд, каждая капля которого способна не только ужалить, но убить человека. Бывало, конечно, он

выпивал, но в тот день был трезв, как стеклышко, разве что пригубил рюмку, чтобы не обидеть Бахрама, и то чисто символически. И вообще, в последнее время он особенно страдал от изжоги и по-возможности избегал обильных возлияний. К тому же мысль о сыне, которого увидел днем раньше с той, занозой сидела в голове.

«Сам виноват. Знает же нынешние нравы. Интеллигентный человек, а полез выяснять. Связался с хулиганьем из-за пятака. Подумаешь — копейки! Где их только не оставляешь? И что за мелочность!»

Его можно обвинять в чем угодно, но не в этом. Нет, будь он мелочным, вроде тех, кто умеет делать деньги из ничего, то повел бы себя иначе. И продавец, наверное, тоже. А тут грубость этого смазливого малого, угадавшего в нем человека скромных возможностей, дала вдруг выход его собственному раздражению. Мог же махнуть рукой и пройти мимо. Но не прошел.

«Какое хамство! Попросили у тебя книгу жалоб — так дай! А вместо того избили до полусмерти человека, который им в отцы годится! Подонки! Били, видно, пока не выдохлись, а потом ушли. Повернулись и ушли, оставив его лежать в кровавой луже без признаков жизни. И не наткнись на него уборщица, наверняка отдал бы богу душу!»

Ладно, избили бы его опять, раз ни на что другое они неспособны; переломали бы ему руки и ноги, не оставили на теле живого места! Но зачем втаптывать в грязь его душу? Как жить ему теперь, как смотреть людям в глаза?!

«Таких надо расстреливать на месте!..»

О чужой беде судят по-разному. Кто так, кто эдак. На то и молва. Что нам стоит, к примеру, посочувствовать со стороны? Это проще, чем разделять чужое горе или помогать ближнему. «Горю чужому не поможешь», — подсказывает нам разум. Случись, однако, та же беда с нами (не приведи, конечно, господь!), мы сразу принимаемся искать всеобщего сочувствия и деятельного участия одновременно, и находим при этом в лице людей близких или далеких лишь сторонних наблюдателей. Таких же, как мы сами. Ведь человек по натуре — любитель зрелищ. И у него есть язык, который, как известно, без костей. Вот и мелет, что ему вздумается. Ладно еще, что язык способен лишь ужалить. Будь иначе, перемалывал бы с зубами заодно, так что искры бы изо рта сыпались!

Впрочем хорошо, что язык без костей,— отрезать легче...

* * *

— Вы о нас, папа, подумали?..

Сказала — и больше ни слова. Молча чистит, растелив на коленях газету, желтокожий банан.

Она вошла в палату и, сухо кивнув его соседям, прошла к отцу. Присела на стул и, как-то странно взглянув на него, тихо проговорила: «Вы о нас, папа, подумали?..» И в этом вопросе вся ее любовь к нему и вся горечь.

«Подумал, доченька, хорошенько обо всем подумал. Именно поэтому...»

Эльчиев знал: если бы он ушел, его дом наполнился бы громкими рыданиями. Плакали бы все: жена, дети, собравшиеся родственники, ну все-все, а дочь стояла бы в стороне, не проронив слезинки. Ей делали бы замечания, упрекали в бессердечии: не стыдно тебе, родная дочь, а стоишь, как на чужих похоронах, нет слёз, так хоть иди лук порежь...

Но он точно знает, что никто не скорбел бы в тот момент больше, чем она. И когда гроб с его телом подняли бы на плечи — а ведь так могло случиться! — эта самая девушка, его бессердечная дочь, истуканом стоявшая в углу комнаты, тихо застонала бы, и слышалось бы в ее стене душераздирающее: «Оте-ец!».

Да, худо умирать за тридевять земель от родного дома, очень худо... И потом, что может быть горше вечной разлуки?.. Но высохли б по нему слезы, стихла боль, и память о нем осталась бы лишь в смутных воспоминаниях. Да и те постепенно бы стерлись, и дети — плоть от плоти его — предали бы отца забвению...

Эльчиев отвернулся к стене, чтобы дочь не увидела слезы у него на глазах, и пролежал так довольно долго, пока не взял себя в руки.

— Нате, съешьте... Дина из Москвы привезла, — протянула дочь очищенный банан.

Эльчиев, вздрогнув, отдернул было руку, но, чтобы она не обиделась, взял банан и положил на тумбочку.

— Ну как твои дела, дочка?

— Дела?.. Перехожу на другую работу, папа.

— Почему?

— Долгий разговор, — вздохнула она и, завернув ко-

журу в газету, сунула в сумку.— Мне предложили завести отделом!

— А что в этом плохого?

Нахмурилась, дочь пристально посмотрела на него:

— Ведь вы сами знаете! Думаете, они случайно выбрали меня, когда у нас столько достойных кандидатур да еще со стажем?

Эльчиев почувствовал, что ему не хватает воздуха.

«Ведь у вас взрослые дети — сын и дочь, хорошо бы о них позаботиться...» Тогда он не сразу понял, что стоит за этой фразой. Значит, так решили они сломить его. Гадды! Подачками норовят взять, подачками! Ох, как глубоко пустили они корни! Какой далекий расчет, какой тонкий подход! Но не клюнула дочка на их наживку, не приняла милостыни. Честь и достоинство отца ей дороже! Умница ты моя!

«Ведь у вас взрослые дети — сын и дочь...» Да, сын и дочь! Вот она рядом — его птичка-невеличка, смелая защитница отцовской чести! Чего можно еще пожелать, когда есть такие защитники?

Дочка, первая и единственная, была любимицей Эльчиевых; многие печали и радости на заре их супружеской жизни были связаны с ней, и первые морщинки у глаз Мастуры появились тогда же. Кажется, не было такой болезни, которая бы к ней не прилипла, и больницы, где бы она не лежала. Она словно бы отболела и за себя и за младших братьев, которые вырастали незаметно для родителей.

Заканчивался рабочий день, и Эльчиев торопился в больницу, где с нетерпением ждала его маленькая дочка. Едва он открывал дверь палаты, Джасура соскакивала с койки и бежала к нему навстречу. Эльчиев садился на корточки, и дочурка, обхватив худенькими, совсем прозрачными ручонками его шею, шептала на ухо: «Папочка, знаешь, а мне сегодня опять укольчик делали, и я совсем-совсем не плакала». Потом, сидя у него на коленях, она весело щебетала, поверяя ему свои незамысловатые тайны,— тоскливая больничная жизнь не лишила ее жизнерадостности. Иногда же ни с того ни с сего она начинала целовать ему руку, кончики пальцев, и Эльчиева умиляла эта безотчетная ласка.

Когда Джасура пошла в школу, с ней произошла странная, но радостная для Эльчиевых метаморфоза — все болезни ее как рукой сняло, разве что желтухой в восьмом классе переболела. Избалованность, свойствен-

ная обыкновенно людям в детстве хилым и болезненным, была ей чужда, и вообще Джасура была непохожа на многих своих сверстниц. Ни разу от нее не услышали: «Хочу то!» или «Купите это!» Студенткой она ходила в институт в старом школьном пальтишке и не жаловалась. Сама скромность, а не девушка!

На втором курсе Джасура стала выходить из дома чуть свет. «Нулевая пара,— бросала она на ходу.— Я опаздываю!» Что это за «нулевая пара», Эльчиев узнал только несколько месяцев спустя. Как-то Джасура вернулась домой с большим свертком — в нем было новое пальто,— и Мастура, естественно, стала допытываться, на какие деньги куплено? Тогда-то дочь и призналась, что работает уборщицей в небольшой конторе. Эльчиев страшно рассердился: «Как это так, не спросившись, пойти работать... Да что ж, мы сами в конце концов не в состоянии купить тебе пальто? Немедленно увольняйся!»— «А что в этом плохого?»— отвечала Джасура с улыбкой. Работу она не оставила.

С одной стороны, их с женой радовала ее самостоятельность, но она же и пугала. Они стали строже контролировать ее, но Джасура по-прежнему не изменяла своей вольной натуре. Защитив диплом, пошла по распределению в приглянувшийся ей проектный институт в двадцати минутах езды на автобусе. С первой полочки она купила матери японский зонтик, а отцу импортную рубашку и очки, те самые очки...

И вот их любимицу Джасуру хотят использовать в своей грязной игре вроде шахматной пешки. Проведут ее в королевы — и баста! Но они просчитались. Она уйдет с этой работы и заодно не будет видеть перед собой лицо того паршивца...

Однажды вечером (он уже вышел на работу после больницы) Эльчиев застал дома пять или шесть незнакомых женщин. Мимоходом Мастура шепнула ему, что родня Юсупа пришла посмотреть их квартиру. Он вышел на балкон, закурил.

Жена говорила ему как-то, что у Джасуры есть парень, с которым она работает в одном институте. Ничего удивительного в этом посещении, стало быть, не было, другое дело, почему они пришли именно сейчас? «Вот характерец! Взяла и поставила перед фактом, — с ревностью подумал он, закуривая новую сигарету.— А впрочем, как ни крути, девушка — чужая собственность. Не сегодня уйдет, так завтра».

Женщины тем временем столпились в прихожей, стали прощаться. И надо же было появиться в ту минуту следователю да еще в форме. Ну да что там, Эльчиев сам виноват — игнорировал его вызовы в милицию.

Два дня спустя стал известен результат визита свах. Джасура, по словам матери Юсупа, оказывается, не чета ее распрекрасному сыну. Понятно, обстановка в квартире Эльчиевых для чужих глаз малопривлекательная, но это, как говорится, полбеда. Милиционер в доме, конечно, побудил женщин сделать рейд по соседям. А те — люди разные, вот кто-то, видимо, по доброте душевной, и брякнул, что к Эльчиеву, мол, милиция день и ночь ходит, все допытываются, кто и за что его недавно так зверски избил. А на квартиру посмотреть — цыганский шатер. Непохоже, чтобы там собирались играть свадьбу дочери: ни ковров дорогих, ни серванты от хрустала не ломаются, да и все прочее...

Не прошло и месяца, как Юсуп женился. Невеста нашлась, видно, под стать ему — с хорошим приданым. А что там любовь?! Чушь! Дым! Эльчиеву было обидно за дочь: такая умница, а не разглядела человека. Поверила, видно, его красивым словам о любви, вечной весне. А этому прохвосту, судя по всему, нужна была не любящая жена, а денежный мешок... Как же ты, дочка, не почувствовала этого раньше! Ведь для людей такого сорта человек и сердце человеческое подобны ходовому товару: они сначала приценятся к нему да поторгуются, как на базаре, и если не сойдутся в цене, спокойно отодвинут в сторонку. Но не понимают, что при этом сами превращаются в жалких и презренных рабов, которых легко купить и продать... Ну теперь-то ты поняла, что это за люди, доченька? Я твой отец и не могу спросить тебя об этом напрямик. А ты, моя дочь, не говоришь... Может, я ошибаюсь, но кажется мне, что ты уже ничему не веришь. Дай бог, чтобы я ошибся.

Им с Мастурой больно было смотреть на дочь. Та замкнулась в себе: все молчит и молчит — слова из нее не вытянешь. Придет с работы, проскользнет в свою комнату и не показывается. Поинтересуется мать, как ее дела, ответит, уставясь в пол, что нормально, — и молчок. Дважды за какую-то неделю приходили к ним сваты, но оба раза слышали один ответ: «Не утруждайте себя понапрасну, я не собираюсь замуж...»

И сейчас, размышляя о судьбе дочери, Эльчиев почувствовал, как закололо в сердце. «Неужели для того

не досыпали мы с матерью ночей, чтобы ты, дочка, познала в жизни одну только горечь? Неужели я не хотел, чтобы ты была счастлива? А может, это из-за меня, из-за твоего непутевого отца счастье отвернулось от тебя? Но то было, поверь мне, мнимое счастье, и не печалься — радуйся, дочка, что все так получилось. Может, так оно и лучше, подальше от этого подлнца...»

Сам того не замечая, он не сводил вопрошающего взгляда с бледного лица дочери, что сидела с опущенной головой. Наконец она оторвала глаза от своей сумочки и, посмотрев на отца, понимающе улыбнулась. Эльчиеву показалось, что она вот-вот расплачется.

...Мастура приходила к нему по два раза на день. Сегодняшним вечером она задержалась дольше обычного.

— Ты бы шла,— сказал Эльчиев обеспокоенно,— а то уже темно на улице.

— Не беда, я же не одна... с Камалиддином,— проговорила жена.

— С Камалиддином?! Он здесь?— воскликнул Эльчиев.— Почему же не зашел?

— Да ну его,— смущенно улыбнулась Мастура.— Я ему говорю: «Пойдем к отцу», а он уперся и ни в какую. Там он, во дворе, с Нусратиллой...

Которые сутки отец в таком плачевном состоянии: часами лежит недвижно, глядя на тонкие жгуты капельниц, одурелый от запаха лекарств и вынужден еще слушать бодренькие фразы приходящих его проведать... А сын приходит ежедневно в больницу и, видите ли, стыдится, или же боится его? Но отчего?

Эльчиев знает, точнее, догадывается. Ведь в какой-то мере и сын повинен в том, что он вторично очутился на больничной койке. Ведь именно сын помешал ему тогда уйти! Не зайти Камалиддин той ночью в ванную комнату... Вот и пойми теперь — проклинать ему сына или, наоборот, благодарить как спасителя? Как все сложно, запутанно! Во всяком случае, пока он не в силах ничего решить. А потом? Потом, наверное, видно будет — время покажет.

Возможно, сын вправе упрекать его. И в самом деле! Но тогда, тогда... Нет, в любом случае еще рано делать какие-то выводы. Ладно, пусть не заходит. Наверное, у него в душе тоже саднит рана...

Больше месяца Эльчиев не виделся с сыном. Впро-

чем, нет, он столкнулся с Камалиддином той ночью. Тот заявился домой, словно чувствовал — что-то должно случиться... И когда глубокой ночью заглянул в ванную, то застал там отца... в таком виде, в таком состоянии!..

Конечно, как же теперь сыну зайти к нему в палату, посмотреть отцу в глаза... ведь он невольный свидетель его падения?!

Как незаметно на глазах подрастают дети. Казалось, только вчера вы радовались первым шагам своего ребенка, а сегодня уже примеряете на нем новенькую школьную форму. «Мой ребенок, мое дитя!» — упорно твердите вы, и когда он набедокурит дома, и когда подерется с мальчуганом из соседнего двора. Однажды это дитя пойдет наперекор вашей родительской воле, и вы будете переживать, а все равно скажете, что он еще ребенок, и что он потом все поймет, и что ему будет стыдно. Да и как иначе, если течет в нем ваша кровь? Так есть и так будет. Даже на закате жизни для вас он — ребенок, которого покидаете на веки вечные с горькой мыслью: что будет с ним потом? Как он перенесет такую утрату? А между тем этот «ребенок» в первую очередь думает уже о собственном чаде и переживает за него. Точно так же, как вы. Чувство это перешло к нему по наследству, и оно, пока жив человек, — вечно! И только от вас самих зависит, какими будут наследники. В общем, что посеете, то и пожнете. Так что сейте себе на здоровье, но думайте, чаще думайте, как вы сеете и как ухаживаете! А иначе все ваши старания, все надежды и чаяния пойдут насмарку. Все равно, как крупа, насыпанная воробьям. Поклюет, поклюет воробышек то, что ему бросили, да и улетит. И нет разницы для него, кто бросил те зерна и для чего — было бы что поклевать!

Неужели Эльчиев не знал всего этого? Знал, еще как знал! Но что может предотвратить даже такое знание?

Все обращался к нему: «Сынок, сыночек», — а как он вырос, и не заметил. И не мудрено. С раннего детства был мальчик тих и застенчив, хлопот больших не доставлял. Бывало, усадят его в уголок, он и сидит там не двигаясь. Спросят: «Чего не встаешь?», отвечает: «Мама поругает». А протянут леденец, отказывается: «Мама сказала — мне нельзя!» В школе он был образцом прилежания и послушания. Учителя нарадоваться на него не могли, а соседи постоянно ставили в пример своим детям.

И вдруг после окончания школы его как на сто во-

семьдесят градусов развернуло. Началось все с того, что он недобрал баллов при поступлении в институт. Казалось, с кем не случается, но сына стало просто не узнать: упрямый и заносчивый, он то и дело грубил матери, помыкал младшими братьями и лишь отца еще как-то побаивался.

Продолжалось это вплоть до ноябрьских праздников, вслед за которыми Камалиддина призвали в армию. За два года службы он прислал три или четыре письма. В письмах сообщал, что жив-здоров, что служба идет нормально; в конце каждого из писем просил о чем-либо Джасуру, и та мигом исполняла его просьбы, высылая перчатки либо альбом с фломастерами.

Через два года Камалиддин вернулся. Эльчиев даже не признал сначала в этом здоровенном верзиле своего сына. Тогда же впервые он почувствовал, что его собственная жизнь пошла на убыль, а эта, молодая, им данная, набирается сил. Он смотрел на сына со смешанным чувством гордости и печали и не верил своим глазам.

Армейская служба наложила отпечаток не только на внешность Камалиддина. Он стал спокоен и сдержан, основателен в своих суждениях. Словом, повзрослел. С несвойственной ему раньше заботой относился к сестре и младшим братьям. Иногда он помогал Джасуре нести большую чертежную доску на работу и обратно. Младший, Джалалиддин, тот вовсе был на его попечении: утром отведет в школу, днем заберет, потом часами сидит с ним, помогая готовить уроки. Оставаясь дома один, Камалиддин и на базар сбегает и, если надо, состряпает что-нибудь на скорую руку, по-армейски...

Длилось это месяца два-три. Затем он пошел работать на завод. Работа была у него посменная, и никто в доме толком не знал, когда он уходит, а когда приходит. На следующий год он сдал документы на экономический факультет института народного хозяйства и поступил на вечернее отделение. Эльчиев не знал, что побудило сына пойти по родительским стопам: семейная традиция или же желание доказать, что и на этой стезе можно многого достичь. Но как бы то ни было, Камалиддин вскоре зажил, как тысячи его сверстников, учащихся и работающих одновременно. Рано утром он уходил на завод, оттуда — прямиком на учебу и лишь в полночь возвращался домой. Времени на родителей, сестру и братьев у него не оставалось, да он и сам заметно охладил к ним. Квартирант — и только.

Но ничто так не волновало Эльчиева, как неожиданно обнаруженное пристрастие сына к спиртному. Поначалу Эльчиев даже не придавал этому значения: «Молодой, где-то, возможно, и выпил. Мало ли у них событий и поводов...» Но постепенно в сердце закралась тревога. Не раз и не два он слышал, как сын, возвратясь поздней ночью, запирается в ванной. «Может, пойти и всыпать ему хорошенько?— думал Эльчиев, беспокойно ворочаясь в постели.— Ведь это ни в какие ворота не лезет. Спросить, что у него за горе? Отца похоронил или мать? Зачем пьет эту отраву, от которой выворачивает потом наизнанку?!» Но что-то останавливало его. Если поразмыслить, заслуживает ли сын упреков? Вон иные отпрыски в грош родителей не ставят, без ножа их режут, заявляя, к примеру: «Купите машину! А не то...» Камалиддин, слава богу, не такой. Целыми днями работает, в поте лица добывает свою трудовую копейку. И хотя тяжело, не раскисает и не берет родителей за горло. К тому же природой парень не обижен, вдвое, пожалуй, здоровей отца... Вот и приходил Эльчиев к выводу, что вряд ли он сможет воздействовать на сына. Пусть сам разберется, что к чему. Все равно в эти годы они никого не слушают, даже отца родного. Придет время — Камалиддин опомнится, возьмет себе в жены девушку из подходящей семьи, пойдут у них дети, и не останется тогда на выпивку ни времени, ни средств...

Да у него никогда и рука не поднимется на своих детей — маленьких ли, больших ли. Ведь нет для Эльчиева никого ближе, никого дороже в этом огромном мире, они для него — все на этой земле. Какое уж там битье! Стоило ему нечаянно повесить на ребенка голос, неделю ходил потом сам не свой — мучился, переживал.

Так уж устроено природой, что дети наследуют лучшие и худшие черты родителей. Точных копий, разумеется, не бывает, но те или иные свойства характера в какой-то степени повторяются. С внешностью та же картина. Одному богу известно, что и как будет унаследовано. Вот, скажем, Джасура — и фигурка с осиною талией, точь-в-точь как у матери в молодые годы, и глаза с поволокой, и изогнутые брови, и манера общения — все материнское. Но душа у Мастуры открытая: и радость, и горе у нее — наружу. А что у Джасуры на душе, не угадать, внутренний мир ее — печать за семью замками. Всегда серьезна, даже излишне, не по-девичьи рассудительна. Шло бы это от отца — так ведь и он не

таков. Если радость у Эльчиева, известие о ней разносится по всей округе, если горе — держит в себе день-другой, а потом все равно прорвется наружу. Словом, точит сердце дочери какая-то затаенная боль. Сейчас по крайней мере причину этой боли хоть можно объяснить себе, но если припомнить, такой же Джасура была и раньше. Неужели это то неизменное, что дано человеку природой? Но если так, природа-мать была несправедлива к девушке...

Что же касается Камалиддина...

Сын не походил на него ни характером, ни внешностью, правда, было нечто общее в прямом носе и разрезе глаз, но на том сходство и заканчивалось. Эльчиев был роста среднего и наружностью ничем не примечательной, а сын просто вылитый киноактер. «Неужели этот парень мой сын?! — не перестает удивляться Эльчиев. — В кого он такой красавчик?» Чистое, чуть смуглое лицо, глаза черные и блестящие, словно подведены сурьмой, а выражение их какое-то неопределенное: и недовольство, и брезгливость, и надменность, что ли, и решимость... поди разберись. «На кого он все-таки похож?» — задавался вопросом Эльчиев, не догадываясь, что это — просто молодость, цветущая молодость. «На деда своего, — успокаивает Мاستура. — Взгляните на его фотографии сорокалетней давности...» Ну ладно, пусть он в деда, такой же красивый и осанистый. Но как быть с характером? В кого он такой упрямый?..

Упрямство... Сложная это черта характера. Кто-то благодаря упрямству взмывает ввысь, а кто-то раненой птицей падает вниз. Упрямство подходяще для того, кому оно по плечу, кому в спину дует мощный попутный ветер. За спиной же Эльчиева неизменный штиль, стало быть, по одежке протягивай ножки. Протянул-таки он ножки...

Или эта непонятная страсть сына к тряпкам. Сам Эльчиев одежде большого значения не придает, привык носить то, что есть... В последние годы гроша на себя не потратил — доверяет покупки жене — и никогда не замечал, чтобы кто-то косо посмотрел или рассмеялся ему вслед.

Камалиддин другой. А ведь он раньше не был таким. Теперь же одна тряпка другой дорожке и все, как они говорят: «фирма́». Но эта «фирма́» бешеных денег стоит — ни одной зарплаты не хватит. «Так откуда они у него?» — ломает голову Эльчиев, и раздумья его закан-

чиваются одним и тем же выводом — все она! Все эта артисточка! Кому, спрашивается, по карману джинсы всех фасонов с молниями и чужестранными наклейками, туфли на высоких каблуках с блестящими подковами на носках, плащ из натуральной кожи, карманные часы с боем и музыкой (интересно, чье время, чей срок они отбивают?) и, наконец, цепочка с миниатюрным сердечком на шее! Цепочка из золота, чистого золота. Но все же — цепочка, да еще с сердечком! На парне! Кто придумал такое? Где они все это берут? На какие деньги?

«Достал... достали!..» — вот и весь ответ. Было бы только, на что повесить!

«Шлюха! Шлюха!» — вертится на языке Эльчиева. Ну а будь даже словечко помягче, разве смог бы он высказать его женщине в глаза? Нет, все равно бы промолчал. В конце концов, это личное дело Камалиддина. Он не мальчик, ему уже двадцать четыре; скоро окончит институт, и на заводе у него отличная репутация — начальник смены, передовик!

Верно, Камалиддин — его сын, которого он растил и воспитывал. Теперь этот сын взрослый, самостоятельный человек: сам поступил в институт, сам учится и работает, сам выбрал будущую профессию — все сам! Но так или иначе, он его сын, его кровь, частица его сердца. И разве не желает отец всей душой ему добра?!

Но неволью он забывал, что сын, взрослое дитя его — человек другого времени, иных мыслей и устремлений... Эльчиеву не хотелось даже думать об этом. А тут еще словно кто-то нашептывал со злорадством в уши. «Верно, ты растил, ты воспитал, но теперь он не твой». «Он мой! Мой!» — и сердце Эльчиева сжималось от обиды.

У него была заветная мечта. Пусть сын его не светоч, не само совершенство, но пусть будет похожим на него, пусть пойдет по его стопам. Пусть выберет себе равную и скажет об этом, и пока они с Мастурой живы, лучше ли, хуже, но все сделают, как положено.

Но нет, время уже другое и люди другие. Отстал Эльчиев, безнадежно отстал и потому чего-то не понимает, не может понять.

До сих пор ему больно вспоминать о той выходке Камалиддина...

Однажды собрались они всей семьей у телевизора. Такое случалось не часто. В тот вечер сын был свободен от лекций и, сидя за низким столиком — хантахой, пил

чай. Показывали телеспектакль. «Дальше — тишина» — так, кажется, он назывался. Всех взволновала грустная история о покинутых стариках, которые, несмотря на все невзгоды, сохранили друг к другу теплые чувства. Мастура то и дело подносила к глазам платочек, и у Джасуры на виске трепетно билась крохотная жилка. Глава семьи посматривал на жену и, вздыхая, говорил: «Смотри-ка, а там, действительно, настоящие джунгли, недаром говорят: «капитализм».

Затаив дыхание, смотрели они на экран. Когда же сын-негодяй, не нашедший для родителей даже скромного уголка в своем доме, заявил, что по-настоящему отца с матерью любят лишь дети людей состоятельных или что-то в этом роде, Мастура не выдержала: «Язык бы у тебя отсох, мерзавец!» И тут молчавший до сего Камалиддин промолвил: «А что, дельная мыслишка!» А затем, будто бы не удовлетворяясь сказанным, ехидно посмотрел на отца, потом на мать и тоном, не вызывающим возражений, добавил: «Верно, совершенно верно!» «Ну и ну!» — выдохнул Эльчиев, хватаясь за сердце. «Камал! — закричала Джасура, вскакивая. Подбежав к телевизору, она выдернула шнур из розетки и, всхлипывая, выбежала из комнаты. «Правда глаза колет», — хладнокровно сказал Камалиддин, и от этого хладнокровия у Эльчиева похолодело внутри. Мастура, охая, поднялась, а он так и остался лежать на диване, опершись на подушку и чувствуя, как тело сковывает холодом и как немеют руки и ноги.

Он так и уснул, не заметив, что кто-то прикрыл его пледом и выключил свет. Утром поднялся с трудом, голова раскалывалась. Дома никого уже не было: кто ушел на работу, кто на учебу. Чайник, накрытый полотенцем, давно остыл. И еще несколько дней атмосфера в доме была подобна этому остывшему чайнику.

Но это оказались цветочки...

У бездетного Зиямухамедова из экономического отдела после долгих лет ожиданий родилась дочка, и он на радостях устраивал пир. Разумеется, пристал к Эльчиеву: «Сделайте плов, Нуриддин-ака, своими руками. Я вас очень прошу». Эльчиев, как обычно, все приготовил сам — от и до. Разве можно отказать человеку, когда у него такая радость!

Лишь выходя из автобуса, Эльчиев почувствовал, что чертовски устал, да и перебрал малость. Переходя улицу в сумерках, он едва не угодил под машину. Так-

сист, высунувшись, обложил его матом и, проехав чуть дальше, остановился.

Из машины вышел рослый парень, а за ним — девушка с копной темных волос; таксист с ходу рванул машину, и Эльчиев, было насторожившийся, успокоенно двинулся дальше. Он шел, а метрах в сорока впереди него маячила та парочка из такси. Парень обнимал девушку за плечи, а она держала его за талию. Эльчиеву фигура парня показалась знакомой, и он издали принял его за соседского Марата.

Парочка подошла к угловому дому, и девушка, засмеявшись, что-то подбросила, а парень попытался поймать. Когда он прыгнул, луч света из окна упал на его лицо, а потом и на лицо спутницы, и — о боже! — Эльчиев застыл на месте. Не сон ли это? На всякий случай он ущипнул себя за руку...

А парень и девушка, вновь тесно обнявшись, весело прошли во двор. Если это они, то почему им не стыдно? Почему не смущает их, что в окнах, за которыми сотни зорких глаз и языков без костей, горит свет?.. Почему их не волнует, что скажут люди... А они скажут, непременно скажут; будут судачить о них на всех перекрестках! На то у человека и глаза, чтобы видеть, и язык, чтобы говорить. Что же это за напасть такая? Камал... с Динной... Почему они вместе, в такой поздний час? Почему идут в обнимку? Возвращаются с вечеринки?.. Или это не они? Может, он все же обознался? Дай бог, чтобы обознался, дай бог!

Эльчиев, побледневший и даже, кажется, протрезвевший, приостановился у подъезда Дины. С тревогой он взглянул на окно второго этажа, и вдруг за кружевной белой тюлью зажегся свет, а изнутри донеслось надрывное: «Жи-изнь невозможно повернуть наза-ад...»

Когда Эльчиев поднялся к себе, у него еще осталась слабая надежда, что то были не они. Но, увы, худшие ожидания оправдались... «Камалиддин? Нет, еще не приходил. А что случилось?» — удивилась Мاستура. «Пришел, при-и-шел! Если не веришь, иди и посмотри у Дины! Иди и увидишь все своими глазами!» — хотелось прокричать ему жене с порога. Но стало жалко встревожившуюся Мастуру, и он сдержался, прохрипев лишь: «Потом, потом... Завтра я тебе обо всем расскажу».

Но именно на следующий день произошел тот самый случай, и он угодил в «палату катастроф». А после выписки из больницы иных бед да забот было по горло.

Да и что он им скажет? Как скажет?

Дина росла вместе с его детьми, а последние года два и вовсе стала почти своим человеком в доме Эльчи-Звух. Они переехали сюда одновременно. «Откочевался я, хватит,— говорил тогда отец Дины, Тахирджан-ака.— Пришло время наконец начать оседлую жизнь, не так ли, приятель?» Добрый, открытый был человек. Выйдя полковником в отставку, он преподавал в каком-то институте гражданскую оборону. «Говорят же, и вор на старости лет муллой подряжается,— улыбался Тахирджан-ака.— Вот и я так же: хожу на занятия и байки рассказываю. А молодежь-то нынче грамотная! «Что же нам, случись нападение, сложа руки сидеть прикажете?»— спрашивают. А я им: «Вы за это не беспокойтесь, кому надо — на страже стоят. Опасайтесь больше тех, кто у вас под боком». Ведь на самом деле, если бы человек понимал своего ближнего и сочувствовал ему, то, кроме дождя и снега, ничего не упало бы с небес. Ведь и угрозу, о которой мы постоянно твердим, создал злой человеческий гений, а теперь сам же вынужден искать от нее защиты!»

Еще праздновались тут и там новоселья, еще валялись повсюду груды строительного мусора, а Тахирджан-ака был уже весь в заботах. Соскучился, видно, человек по земле. Целыми днями возился он во дворе, вытаскивал из квартир соседей (здесь сказался его командный опыт), и те во главе с ним дружно отработывали субботник за субботником. Вокруг дома были посажены яблони, урючины, чинары, за которыми он бережно ухаживал. Позже он соорудил подпорки для виноградника и неподалеку поставил широкую деревянную кровать — сури, чтобы было где посидеть с приятелями.

Был он беспокойным человеком. Привык, наверно, в армейскую бытность не сидеть без дела. Однажды бог весть откуда привез он во двор совершенно разбитый «ЗИМ». И вот по воскресным дням, собрав увлеченную техникой молодежь, копался в этой развалюхе, а вечерами сражался с Эльчиевым в шахматы. Летом он провел к сури электричество, и до поздней ночи не смолкали там оживленные голоса мужчин. Иногда они жарили шашлык или же готовили плов... Славные были времена! Суетливые хлопоты при этом не раздражали окружающих. А все потому, что организатором всегда был симпатичный и всеми почитаемый дядя Толя, как звали Тахирджана-ака соседи.

Наступала очередная суббота, и опять собирались у машины отставного полковника, и опять возились с ней до ночи, все ковыряли чего-то. Эльчиев не помнил случая, чтоб хоть раз она завелась. Но разве Тахирджан-ака не знал, что все старания их напрасны? Знал, наверняка знал. Так зачем он купил эту рухлядь, зачем тратил на нее столько сил и времени? Видимо, нужны человеку такие хлопоты.

«ЗНМ» этот и сейчас стоит на прежнем месте. Умер его владелец, и никто из взрослых больше не подходит к нему. Зато получившая свободный доступ к машине детвора облепляет ее, словно мошкара. Забравшись в кабину, они накручивают старый руль, по своему «водят» и «останавливают», легко справляясь с тем, что никак не получалось у старших, несмотря на все их усилия! И ни у кого из обитателей двора рука не поднимается отвезти машину на свалку, потому что стоит она как память о человеке, бывшему когда-то душой этого двора, его беспокойным сердцем!

Так уж вышло, что Дина была единственным и к тому же поздним ребенком в семье Тахирджана-ака. Они с женой берегли дочь, как зеницу ока, лелеяли ее, исполняли любую прихоть любимого чада. Отец звал ее «ласочкой» и обращался к ней исключительно на «вы», а мать только и повторяла: «Адинахон, светик мой...». Дочь, напротив, была лишена того благоговейного трепета и говорила с ними на «ты», — Дина училась в русской школе, и так ей было привычнее.

Большеглазая, стройная, улыбчивая Дина раньше других своих сверстниц изучила науку — разбивать мальчишечьи сердца. Сколько помнил Эльчиев, всегда у соседнего подъезда дежурил кто-то из ее ухажеров, которые, случалось, прямо во дворе выясняли между собой отношения. Юная ветреница обращалась с ними немилосердно — сегодня удостоит внимания одного, завтра другого, а еще через день даст обоим от ворот поворот.

Окончив хореографическое училище, Дина попала в знаменитый ансамбль «Бахор»; девочка, которая, казалось, только вчера ходила по двору с куклой в руках, вскоре стала зваться «Диной Шакирджановой!» — а ее чистое милое лицо замелькало на телеэкране. Гибкие плавные движения, томный взгляд щедро накрашенных глаз приводили в трепет даже такого человека, как Эльчиев. Потому стоило Дине появиться на экране, он сразу выходил из комнаты — покурить, а там, на балконе,

ругал себя последними словами: «Старый осел, нашел на кого паяниться. Она же тебе в дочери годится!»

«Воспитанный в старых традициях, Эльчиев искренне жалел своего соседа и приятеля. Правда, жалея, и осуждал: «Как мог добрый мусульманин позволить дочке стать танцовщицей?! А теперь смотрит на нее по телевизору и любит... нет, не любит! — позор ее наблюдает! Понятно, в ранние годы — девочка танцует, играет, веселится. Но сейчас! Тысячи глаз жадно следят за каждым ее движением, кокетливым и зазывным... Как он выносит?! Будь у всех чисты взоры и, главное, помыслы, разве кто-то противился бы, чтобы его дочка шла в танцовщицы? И неужели сейчас сидит он с женой у телевизора и гордится своей дочерью, которая извивается в танце полуобнаженной? Не понимаю...»

Позднее в семье Тахирджана-ака появился худенький паренек в лейтенантских погонах. «Это сын его старого друга, — говорили всезнающие соседи. — Тахирджан-ака служил с его отцом на Дальнем Востоке». Лейтенантик зачастил, и они допоздна бродили с Диншой под руку из конца в конец двора. Начали поговаривать, что дело идет к свадьбе, и верно: не прошло и полутора месяцев — Тахирджан-ака принялся лично обходить всех с приглашением.

Играли свадьбу в большом зале «Зарафшана». Все семейство Эльчиева (за исключением Камалиддина, который был в то время в армии) собиралось на свадьбу, но его самого внезапно отослали в срочную командировку, и подробности ему рассказали уже по приезде.

Спустя месяц-другой, когда еще не успели потускнеть краски, коими описывалось свадебное торжество, лейтенант исчез, так же внезапно, как и появился.

«Не сошлись характерами», — вздыхали соседи.

У Тахирджана-ака эта история словно выбила почву из-под ног. Недавно бодрого и энергичного, его буквально стали одолевать всевозможные хвори, которые в считанные месяцы уложили его в могилу. Но беда, как говорится, не приходит одна; жена Тахирджана-ака, часто жаловавшаяся на сердце, так и не смогла смириться со столь тяжелой утратой; справив на сороковой день поминки, она прилегла на минутку и больше уже не поднялась.

И девушка, что порхала по жизни беззаботным мотыльком, осталась одна. Она сильно изменилась, вероятно, чувствовала себя виновной в смерти родителей; из

смешливой девчонки Дина превратилась в тихую, задумчивую женщину с печальными глазами. Старики-соседи помогли ей с поминками, и она около года носила траур, не принимая участия по крайней мере в записях на телевидении.

Слезами, однако, горю не поможешь, и Дина стала искать утешения в работе. Тут кстати пришлось гастрольные поездки ансамбля за рубеж; то она в Японии, а то в Индии, которую сменяют Турция или Саудовская Аравия. Боль к тому времени поутихла, и теперь, возвращаясь с гастролей, Дина собирала в квартире молодежь и вечеринки затягивались до рассвета. В день приезда непременно заглянет к Эльчиевым: в каком-нибудь экзотическом наряде, замысловатых украшениях. Расцелует каждого, в том числе хозяина дома, и, улыбаясь, раздает сувениры: «Это вам, Нуриддин-ака, это тебе, Джасурочка...» Потом садится на диван и, закинув ногу на ногу, рассказывает, где побывала, что повидала. Стрекочет, стрекочет и вдруг как прорвет ее: «Милая моя тетушка Мастура! Джасура! Джасурочка! Как я по вас соскучилась!»— и снова начинаются объятия да поцелуи.

Эльчиев, дуреющий от запаха духов и поведения этой странной девушки, ускользает в другую комнату, а когда Дина уходит, недовольно ворчит: «Бесстыдница... Грудь напоказ и на шею человеку вешается, как будто так полагается. Ты скажи, чтобы она поменьше к нам ходила!»—«Почему?—искренне удивляется Мастура.—Что в этом плохого? Ведь она к нам — со всей душой. Тем более дочка ваша!» И выставив привычно подбородок, Мастура загадочно улыбается. Четверть века живет он с этой женщиной, а до сих пор не понимает этой улыбки...

Говорит: «Дочка ваша!» Он знал бы, что делать, будь у него такая дочка! Но это он только так думает, а на самом деле...

Когда Джасура заболела желтухой, ей срочно понадобилось переливание крови. Его группа не подходила, у Мастуры тоже не возьмешь — страдает малокровием, в общем, положение незавидное. Прослышав об этом, Дина в тот же день пришла в больницу и настояла, чтобы у нее взяли кровь для подружки. Дина была старше Джасуры на четыре года, но с детства они считались подругами.

«Теперь вы — родные сестры,— сказала Мастура, когда Джасура вернулась домой из больницы,— у вас

одна кровь. А Адинахон — моя дочь». Так, к неудовольствию Эльчиева, Дина стала не просто завсегдаем, но и близким человеком в их доме. И все его наставления дочери — как о стенку горох, та не переставала твердить: «Дина-апа¹, Дина-апа...»

И вот эта самая «старшая сестра», его «дочка» вскружила голову своему «братишке» Камалиддину. Шлюха! Настоящая шлюха!

Но пришло, наконец, время выяснить отношения.

Спустя несколько дней после выписки Эльчиева Масура зашла с работы на базар и накупила овощей и фруктов. Придя домой, она стала накрывать на стол, включив одновременно телевизор.

Шел концерт ансамбля «Бахор».

— Ой, наша Дина-апа! — воскликнула Джасура. — Видно, запись, я ее только что видела.

Танец кончился. Джасура с матерью пошли на кухню мыть посуду, а Камалиддин молча поднялся и снял со спинки кресла кожаный пиджак.

— Ты куда это? — глухо спросил Эльчиев, внутренне сжимаясь от мелькнувшей догадки.

— Так, хочу прогуляться.

— Опять туда?! — не выдержал Эльчиев.

— Куда?

— К этой... самой!

— Да, к этой самой, — сквозь зубы ответил Камалиддин. — Теперь вы довольны?

Эльчиева затрясло от гнева.

— Сядь сейчас же! — закричал он.

— Пожалуйста.

Камалиддин небрежно бросил пиджак обратно, сел, вытянув на полкомнаты ноги, приготовившись слушать.

Эльчиев взял себя в руки, резко сменил тему разговора и интонацию:

— На кого ты стал похож, сынок? Что ни день, то выпивший...

— На вас, папа, на вас, — отвечал Камалиддин с поразительным спокойствием, за которым скрывалась довольно-таки едкая ирония.

— На м-меня?! — растерянно промолвил Эльчиев и провел ладонью по лицу со свежими еще следами побоев. — Как это на меня?

¹ Апа — старшая сестра; уважительное обращение к женщине, старшей по возрасту или очень авторитетной.

— Не знаю...— Камалиддин опустил глаза.

Что-то острое кольнуло в сердце Эльчиева, и даже слезы на глаза набежали. Спасибо, сынок, спасибо, что прямо взглянуть при этом не посмел. И на том спасибо.

— Ну что, долго собираешься ходить-бродить?— спросил Эльчиев напрямик.— Жениться-то думаешь?

— Вот вы и жените, — бросил Камалиддин, будто речь шла о каком-нибудь пустяке.

Эльчиева задел такой ответ. То был по сути дела первый разговор с сыном на эту тему, и Эльчиев вдруг понял, что сам не очень-то готов к нему. Его мальчик открыто заявляет: «Жените!» Но «жените» у него звучит как «купите». Только не мячик и не велосипед, как в детстве,— жену! Глядя отцу в глаза, просит: жени, мол, или оставь в покое! О, Эльчиев на его месте провалился бы со стыда сквозь землю. А этот мальчишка... Впрочем, какой там мальчишка — взрослый парень, самостоятельный человек. Что ж ему делать, если отец до сих пор помалкивал на сей счет? Сегодня отец спросил, он и ответил...

— Жените,— повторил Камалиддин с прежней беспечностью.— Посватайте, например, Муниру, дочку дяди Хайдара. Если, конечно, ее отдадут!..

Это был чересчур явный, открытый выпад, которым он загнал Эльчиева в угол.

Хотите женить? Пожалуйста, я готов! Сосватайте дочку дяди Хайдара, если сможете! Ведь он ваш близкий друг, как-никак вместе росли и учились, породниться уговаривались. Что-что, а это я помню, и Мунира наверняка не забыла. Что же вы не говорите в последнее время про этот дружеский обет? Или дядя Хайдар передумал? Ах, я и забыл, что ему страсть как хочется сделаться сватом своего шефа, ректора Кариева! Профессорская дочка — профессорскому сынку! Не так ли? Да-а, папочка! Что ж, найдите и мне какую-нибудь завалющую в своем кишлаке или... или не трогайте меня больше!

— Брось вспоминать об этом, сынок. Разговор тот давний,— тихо сказал Эльчиев.

— А что же мне прикажете делать?

— Опомнись. Та, с кем ты сейчас, ведь она...

— Что она?

— Она, во-первых, старше тебя, а во-вторых...

— Что во-вторых!— воскликнул Камалиддин, стискивая подлокотник кресла. Потом откинулся на спинку и

с горечью покачал головой.— Вы не знаете ее, отец, и вы не в состоянии понять!

— Чего я не знаю? Чего я не смогу понять?— обиженно спросил Эльчиев.— Ведь она артистка!

— Пусть!

— Пусть?! Да она видела на своем веку сотню, тысячу таких, как ты!.. Шлюха она, вот кто!

— Замолчите! Замолчите сейчас же!— истерически закричал Камалиддин и с размаху двинул кулаком по подлокотнику.

В дверях появились перепуганные мать и дочь.

— Папа-а!...— поспешила Джасура к отцу.— Папочка!

Мать тоже засуетилась:

— В чем дело, Камалиддин?! Тебе не стыдно? Что скажут соседи, если услышат?!

Но тут вскипел Эльчиев:

— Пусть услышат! Пусть все слышат! Пусть весь мир слышит! Если твой сын еще раз переступит порог того дома!..

— И переступлю!— крикнул Камалиддин, хватая пиджак.— Сейчас же пойду туда!

— Если пойдешь!..— взревел Эльчиев и задохнулся.— Тогда... тогда...— Он схватил со стола пиалу и швырнул ее в сторону сына.— Катись отсюда! Катись!..

Пиала угодила в ножку серванта и разбилась вдребезги.

Камалиддин пулей выскочил из квартиры, а Джасура, расплакавшись, стала собирать осколки. Мастура подошла к побледневшему от ярости мужу, который застыл, судорожно сжимая кулаки, посреди балкона. Успокаивающе поглаживая его по плечу, тихо спросила:

— Что с вами, Камалиддин?..

Эльчиев молчал.

Через час он тихо вышел из квартиры, спустился по лестнице и прошел в соседний подъезд. Он долго стоял перед дверью, обитой порыжелым дерматином, не решаясь нажать кнопку звонка. Потом все-таки дотронулся до нее.

Дверь тут же отворилась... В синем фартуке в горошек, с веником в руках в дверях стояла Дина. При виде Эльчиева она смутилась:

— Заходите, Нуриддин-ака, — несмело пригласила Дина.— Добрый день...

— Адинахон, доченька...— промолвил Эльчиев и не

смог больше ничего сказать, повернулся и пошел обратно.

Дина вышла за ним на лестничную площадку:

— Нуриддин-ака, что-то случилось?

Не оборачиваясь, он покачал головой. Что он хотел сказать этой молодой женщине? Многое, очень многое. Но все уместилось в одной нелепой фразе: «Адинахон, доченька...» Странно...

Перед сном зашла Джасура и, поставив у его изголовья чайник, пристально посмотрела ему в глаза.

— Папа, вы тогда не поняли... Дина не такая, как вы думаете...— дочь с трудом подбирала слова.

Эльчиев молчал. И эту девочку он не понимает, и того мальчика, хотя сам их породил и поднял на ноги. Не понимает... И вообще он ничего не понимает — отстал от жизни.

В ту ночь Эльчиев спал беспокойно: его били во сне остроносими ботинками; били не одного, а вместе с сыновьями и дочерью. С криком он раскрыл глаза и увидел над собой взволнованное лицо Мастуры.

— Голова что-то побаливает, — пробормотал он, стыдливо поворачиваясь на бок. Попытался уснуть, но сон как рукой сняло...

Для чего существует род человеческий? Мужчина и женщина? В чем причина их вечного тяготения друг к другу? Радость любовных утех? Но ведь и без них можно прожить, и нельзя сказать, что такая жизнь будет пустой и недостойной. Есть просто в них более высокий смысл. Вечность? Человек стремится к вечности — осознанно или интуитивно, все равно стремится. И этот присущий всему живому инстинкт лишь у человека обретает высокое духовное начало. В тот момент, правда, меньше всего он думает об этом. Охваченный страстью, ей и только ей подчиняет он каждый свой порыв. Но вот появляется на свет существо — частица его плоти, в жилах которого течет его кровь. Теперь смерть не страшна, она уже не оборвет течение человеческой жизни; останется его кровь, которая будет передаваться из поколения в поколение, а значит, и он будет вечен! Но с того самого дня его силы, духовные и физические, незаметно пойдут на убыль! Великая миссия выполнена, и теперь живет его дитя, живет и взрослеет; а он приносит себя в жертву ему, и это приношение — также великий унаследованный от предков закон! Оно неизбежно — уйти от него

человек просто не может. Самый справедливый и самый несправедливый в одно и то же время закон природы. И он живет одной надеждой: только бы не видеть мук и страданий любимого существа; ладно, пусть на него самого падут самые жестокие испытания, он готов даже умереть, но зная, что его дитя здравствует. Ведь то существо — он сам! Но как быть, когда дитя непохоже на отца и не идет по указанному им пути? Ведь он не может отказаться от собственного продолжения! И тогда, тогда ему остается одно — понять... Попытаться понять своего ребенка... И мучения, и радости, а стало быть, сущность той не всегда понятной вам жизни...

Нет, Эльчиев вовсе не философ, чтобы выводить из своих горьких раздумий универсальные формулы. Это лишь смутное очертание выстраданных им мыслей, что потянулись вслед за теми несчастьями — только и всего...

После ссоры с отцом Камалиддин не вернулся. И у Дины его не было, — Джасура не скрыла бы этого, да и соседи не прозевали бы. Мастура поплакала-поплакала и не выдержала — пошла к нему на завод. Там его не застала — Камалиддин был в отгуле, зато узнала, что живет сын у одного своего приятеля на Чиланзаре, и что, по словам ребят из бригады, домой возвращаться не собирается. С завода Мастура вернулась вся в слезах. Эльчиева душе прежнего охватили муки раскаяния, а сердцу прибавилась еще одна боль...

...И вот теперь которые сутки лежит отец ни жив ни мертв в опостылевшей палате, а сын приходит и уходит, не найдя нужным заглянуть к нему: видите ли, стыдно ему, а может быть, и боязно войти? Но почему? Нет, точный ответ может дать только сам Камалиддин.

— Нусрат и сейчас здесь? — спросил Эльчиев, устало поворачиваясь к жене.

— Да он же отсюда не выходит. Как вы его не видите?

— Я же говорил, что не нуждаюсь теперь в его помощи.

— Не знаю. Он сказал, пока вы не поправитесь, он никуда не уйдет. Бедняга, которые сутки здесь...

— Ну кто его просит? Пусть идет, — сказал Эльчиев раздраженно. — Где он?

— На улице, с Камалиддином. Хотела уговорить его поехать к нам — не соглашается ни в какую. Стесняется,

что ли? Говорит: «А вдруг опять дяде кровь понадобится?»

— Мне уже ничего не понадобится. Скажи ему, пусть едет домой, а то дождется, что с работы уволят.

Эльчиев тяжело вздохнул: еще одна забота, ещё одно переживание...

Как только вышел из палаты Хайдар Самадович, с дальнего угла послышался голос Музраба-амаки¹:

— Важная, видать, птица, высокого полета...

Эльчиев вздохнул и подумал: «Да, Музраб-амаки, он из тех, кто очень высокого полета...»

Хайдар Самадович вошел в палату в сопровождении лечащего врача и двух медсестер. Широко расставя ноги, он встал посреди комнаты и, рассеянно слушая врача, огляделся вокруг. В гордой осанке, в движениях его чуть посеребренной на висках головы ощущались сила и уверенность. Одет он был с иголки, как и подобает людям его уровня: элегантный темный костюм в мелкую полоску, красивый, узким узлом завязанный галстук, новые, не знающие пыльных дорог туфли, кожаный «дипломат» в руках. Словом, верно подмечено: «птица высокого полета».

Отпустив врача и медсестер, Хайдар Самадович подвинул стул к койке Эльчиева. Сел и заговорил. Упрекал, срамил, недоумевал, но только не подумал спросить, как же он сейчас себя чувствует, Эльчиев? Хайдар Самадович закончил свой назидательный монолог и важно поднялся. Профессор Самадов выполнил свой человеческий долг. И лишь напоследок обронил невольное: «Не будет ли мне каких поручений?..»

Он ушел, а на сердце Эльчиева еще один камень...

«Не будет ли мне каких поручений?» Да разве можно тебе что-то поручить, Хайдар?! Тебе, доктору наук, профессору, едва ли не первой величине большого института! Думай, о чем говоришь, приятель! Тебе — и поручение! Да ты в первую же минуту избавишься от него, переложишь на чужие плечи. Да и какие поручения я могу дать тебе теперь?..

Двое друзей из высокогорного кишлака, выросшие в одной махалле, вместе приехали в далекий Ташкент и, поступив в один институт, снимали одну квартиру на

¹ Амаки — дядя.

двоих, повсюду были вместе и в большую жизнь вступили одновременно. Но один из них остановился на нижней ступеньке и сказал: «Все, с меня хватит и этого, дальше я не пойду», а другой усмехнулся и, энергично двигая локтями, пошел вперед, приступом брал ступеньку за ступенькой. По-ше-ел! И поднялся высоко-высоко. А сегодня он навестил товарища, который остался там, внизу, и теперь лежит беспомощный, потерявший к жизни всякий интерес. Пришел и спрашивается о его здоровье: «Не будет ли мне каких поручений?»

Кто поверит этим словам?

«Что за глупость?! Взрослый человек, ты что, с ума спятил?! В конце концов у тебя есть дети, родственники... ты о них подумал? Хотя бы обо мне подумал? Хорошо ли, плохо — с малых лет с тобой дружим. Эх ты, спятивший!..»

...Хватит, Хайдар, хватит, не мучай меня больше — зачем тебе терзать мое сердце, и без того полное горечи? Я думал, тысячу раз думал, прежде чем пошел на такое: у меня не было иного выхода, и не лучше ли было разом со всем покончить?

Но вот о тебе я не думал, приятель, это верно. Да и с какой стати я должен был думать о тебе в тот момент? Верно, были друзьями... Когда-то. Ах, какими были друзьями, водой не разольешь! Для меня не было человека более близкого, более верного, более дорогого! Ты действительно был для меня таким человеком, и временами я упрекал себя за то, что так легко принимаю в дар твою самоотверженность и преданность. Ведь если ты помнишь, даже в те счастливые дни моих свиданий с Мастурой у меня не было от тебя секретов, я поверял тебе наши самые сокровенные тайны. Ты был моим единственным другом!

Да, юношеская дружба совсем иная, приятель, она искренна и бескорыстна. Она чиста и прозрачна, и нет на ней ни пыли, ни грязи. Только это вовсе не означает, что со временем пыль и грязь на нее не осадут. Вот и осели! Да что там пыль и грязь... Сам ведь, Хайдар, знаешь!

Но до сих пор, как только заговорят о дружбе, я, не скрою, вспоминаю тебя. Дожив до седых волос, я встречал в жизни много разных людей, но никто из них не стал для меня по-настоящему близким, и я волей-неволей вспоминаю тебя. Но разве можно назвать дружбой наши отношения? А если можно, скажи, что ценного ос-

талось в ней, кроме воспоминаний? А в тот самый день, когда страшное подозрение закралось в мое сердце, сжало его до боли, я с надеждой взирал в твою сторону, но ты даже бровью не повел... Снова и снова обращался я к тебе, а ты все отмалчивался...

И вот, то ли из уважения к нашей прошлой дружбе, то ли из обычных человеческих побуждений, как бы там ни было, ты пришел проведать меня. Смотришь на меня участливым взглядом, и винишь, и укоряешь. Спасибо, тысячу раз спасибо, что ты все-таки есть! Но учти, приятель, я сделал это не по глупости. Ничего подобного!

«...Ты не подумал о том, в какое положение ты меня поставишь? Ты меня опозорил! Меня, своего друга?!»

Ах, тебе, бедняге, неловко, что твой бывший друг, с которым ты делил хлеб и кров, наложил на себя руки, пробовал наложиться... Ах, как нехорошо, ведь кто-то может где-то невзначай заметить, что он-де был твоим приятелем. Не так ли? Вот именно! Силен же ты, приятель! А моя жизнь, моя честь? Это не в счет?! По твоим особым меркам, разумеется, не в счет! Не так ли? Молодец! Вот теперь ты опять стал самим собой! А я — профан — по сей день горжусь, что у меня такой друг, крупный ученый, большой человек.

Я никак не могу забыть свою позапрошлогодную поездку в родной кишлак. Наш приятель Иманкул устраивал той¹ по случаю рождения сына. Кстати, сына он назвал Хайдаром — в честь «друга детства, выходца из кишлака, ныне авторитетного ученого». Сына, который появился после семи девочек! Той был что надо! Во время него то и дело произносили, как святыню, твое имя. Мне временами даже казалось, что праздник этот затеян не в честь маленького Хайдарчика, а в твою — Хайдара Самадовича — честь. А сам ты, «занятый неотложными делами», приехать не сумел, точнее — не соизволил. Зато я стал свидетелем твоего чествования и слышал слова, звучавшие в твой адрес; превознося тебя, вспоминали и обо мне, грешном: «Друг Хайдара Самадовича! Они вместе росли, вместе учились...» Я стал твоим должником, ведь частица твоей славы перепала на мою долю. Мне было неловко, и я чувствовал себя виноватым. Стоило мне заговорить с кем-нибудь, сразу же раз-

¹ Той — пиршество, празднество.

говор заходил о тебе, о твоём здоровье, о твоей работе. По правде говоря, все эти вопросы-расспросы о тебе задевали мое самолюбие, вызывали во мне легкое раздражение. Была ли то зависть? Что ж, не исключено. Иногда, когда мне становится совсем неважно, я завидую тебе. Ведь ты на моих глазах превратился в Хайдара Самадовича! Но никто не знает тебя лучше меня! Ведь ты, не кто другой, решил последовать моему примеру и отправился со мной в Ташкент, а там прислушивался к каждому моему слову. И не за мной ли ты тянулся в учебе и в жизни? Благо, что ты хоть помнишь об этом, не отрицаешь.

Поступил ты с трудом и учился кое-как, с грехом пополам окончил институт. Потом, как и я, остался работать в городе. Помнишь, что говорил мне, когда я женился: «Умен же ты, друг Нуриддин, взял в жены городскую и теперь хозяин такого дома». В ту пору ты завидовал мне! Эх, Хайдар, друг мой дорогой, разве думал я, что останусь жить в этом городе? Если бы не Мастура... Поначалу я остался здесь ради нее, а потом... ладно, что ворошить старое — сам знаешь.

А ты тем временем встретил Халбеку. Нашел ее... и вдруг решил избрать научную карьеру. И это ты, едва-едва доучившийся до конца. Я был поражен, хотел отговорить тебя от этой глупой затеи, но боялся ранить твое самолюбие. Однако я и не подозревал о твоих скрытых талантах, а дела твои пошли как нельзя лучше. После защиты кандидатской (банкет был устроен в ресторане «Шарк») наблюдал я, как ты, безмерно счастливый, волчком крутился перед учеными мужами, и все еще не верил, что такое стало возможным. Но сам ты уже имел в то время ясную цель и шел к ней, не останавливаясь, а позже сила инерции понесла тебя все дальше и выше...

Помнится, ты не раз говаривал: «Возьми тему, за остальное я ручаюсь». Но я не смог на это отважиться, считая себя неспособным к науке.

По мере твоего продвижения наши отношения приобретали иной, нежели в молодые годы, характер. Первое время ты жалел меня, потом... да и сейчас, я знаю, чувствую, что в душе ты смеешься надо мной! Прошли те времена, канули в Лету, когда я был для тебя «друг мой Нуриддин»; ты уже сам стал гораздо на наставления и спрашивал при встрече, похлопывая меня по плечу: «Как делишки, Нуриддинбай?» Вскоре ты перешел на сухо-официальное «Эльчиев», а с недавних пор взял за

моду звать меня высокомерно, с какой-то обидной иронией: «Эльчине-евич». А я и с этим согласился. Но что я мог, если ты «Хайдар Самадович»!

Говоришь, я тебя опозорил?!

Да бог с тобой! Тебя, Хайдара Самадовича, доктора наук, профессора, заведующего кафедрой и опозорить?! Кто кого опозорил? Короткая же у тебя память, приятель... Вспомни, как кричала и рвала на себе волосы твоя благоверная, а ты молча стоял в сторонке, тем самым соглашаясь с ее словами. Между прочим, достаточно было прикрикнуть на нее: «Замолчи сейчас же!», — и все предстало бы в ином свете. Потрясенный услышанным, я обратился к тебе с вопросом, а ты лишь процедил сквозь зубы: «Не верь». Ты ограничился этим неопределенным «не верь», оставляя меня в смутном неведении, кому и чему не верить. А ведь речь шла о моей чести, о добром имени моей жены, и от тебя, своего близкого друга, я ждал других слов и других объяснений. «Вы у Хайдара спросите, он же ваш друг», — плача сказала Мастура. Как, о чем я мог спросить у тебя, закадычного друга?

«Не верь...» Чему же мне верить, Хайдар, а чему — нет? Почему ты вел себя так, будто бы обвинения Халбеки имели под собой основание? Почему не сказал: «Что ты, друг мой, чепуха все это! Нашел кого слушать»? Но нет, вместо этого ты пустил гаденький слухок, будто я ревную к тебе свою жену. А остальное пусть каждый додумывает сам, не зря же говорится: «Дыма без огня не бывает». Чего ты добивался — загнуть с помощью грязной клеветы меня в угол, а самому возвыситься в глазах окружающих?..

Знал бы ты, какие страдания доставили мне тот скандал и поползшие следом за ним слухи! Я не мог прямо посмотреть в глаза Мастуре, я ходил, как пришибленный; мне казалось, что, заговори я об этом снова, случится что-то непоправимое. В то же время я ни на йоту не сомневался в том, что вся эта история — дурацкая выходка зловредной фурии — твоей жены, гнусный вымысел от начала и до конца. Но и сегодня, едва я вспоминаю об этом, меня гложет обида...

Да, я до сих пор на тебя в обиде, Хайдар... Ведь ты тогда знал, прекрасно знал, какого ответа я жду, но ни словом не обмолвился. Почему?

Ты... ты таков, мой друг! Ты не сделаешь какую-нибудь гадость открыто ни мне, ни кому-то другому — это

несомненно. Но любишь пощекотать чужие нервы. И вес ты в этом!

Говоришь, я тебя опозорил...

...Хайдар встретил Халбеку и начал расписывать ее Нуриддину: «Ну, друг, нашел я, наконец, свое счастье. Увидишь ее—ахнешь!» Нуриддин увидел и действительно — ахнул... Впрочем, внешность бывает обманчива: и царевич взял же в жены лягушку. На настойчивые расспросы Хайдара он ответил просто: «Раз тебе нравится, то хороша». И двух месяцев не прошло — стали они мужем и женой. Вся любовь, все испытания, радость свиданий и горечь разлук уместились в этот короткий срок.

Сыграв пышную свадьбу, молодые, однако, не ведали, где найдут приют: от комнатушки, которую снимал Хайдар, Халбека воротила нос, а о семейном общежитии и слышать не хотела. «Посоветуй, что делать, друг? Жена капризничает, говорит: «Уеду домой»,— жаловался ему Хайдар. В те дни Нуриддин как раз подремонтировал пустующую комнату у ворот. «Поживите пока у нас,— предложил он,— а там видно будет».

Откуда было ему знать, что он совершает тем самым большую, непоправимую ошибку. Неделю спустя он понял это, но было уже поздно.

Халбека была дочерью знатного председателя целинного колхоза под Мирзачулем. Выросла она среди четверых старших братьев неженкой и белоручкой. Училась на втором курсе университета, посещала занятия от случая к случаю. Что ни день, то «ой, голова болит!», приляжет — и с концами, а раковина полна грязной посуды. Но попробуй скажи ей хоть слово—хватает сумочку и на автостанцию или на вокзал. Через неделю-другую возвращается в сопровождении одного из братьев (у нес что ни брат, то —«шишка!»), и держись тогда, Хайдар!

Был один из тех дней, когда бабушка гостила в Паркенте; Нуриддин задержался на работе и возвращался немного позднее обычного. Еще с улицы он услышал визгливый голос Халбеки. Дома он застал такую картину: Халбека, истерически крича и дергая на себе волосы, снует по двору, а Хайдар, прислонясь к винограднику с окурком в зубах, молчаливо наблюдает за ней.

— Что случилось?— подошел Нуриддин к Халбеке после некоторого замешательства.

Халбека, обычно скрытная, избегавшая с ним общения, неожиданно кинулась на него, вытаращив и без то-

го круглые глазищи. Из ее рассказа, сопровождаемого воплями и плачем, следовало, что, возвратясь с консультации, она «застукала» своего муженька и его жепушку за чаепитием на супе. Чай, конечно, для отвода глаз. Сидели и ворковали, как голубки. В карты, видите ли, играли, а сами так и жались друг к другу.

— В карты? Ну и что здесь такого?— произнес Нуриддин побелевшими губами.— Вместе учились... сели чаю попить...

— Боже мой!— затрясла она головой на манер китайского болванчика.— И это мужчина?!

Последние слова больно хлестнули его. Нуриддин в растерянности приблизился к Хайдару.

— Хайдар, что... что это значит?

— Не верь,— сказал Хайдар, не глядя ему в глаза, и, выплюнув папиросу, быстро выбежал за ворота.

С опущенной головой и безвольно повисшими руками Нуриддин зашел в дом, откуда слышны были сдавленные рыдания Мастуры.

— Мастура... что?..

— Неужели вы не знаете этой бабенки!— повернула она к нему заплаканное лицо.

— Знаю, но...

— Вы у Хайдара спросите, он же ваш друг!

В это время захныкала лежавшая в колыбели Джасура. Присев, Мастура дала ей грудь, а потом посмотрела на него, выставив подбородок, и нервно улыбнулась. И что было в этой улыбке — жалость, любовь? Нуриддин обмяк. Медленно опустился рядом с женой и, обняв ее за плечи, нагнулся к ребенку. Маленькие, как бусинки, глазенки с удивлением глядели на него...

Через некоторое время с шумом хлопнула калитка, и они увидели в окно Халбеку с большим свертком в руках. Не оглядываясь, она шагала прочь вверх по улице, торопясь, по-видимому, на вечерний поезд, который помчит ее в Мирзачуль!

— Уехала,— пробормотала Мастура с горькой усмешкой.— Чтоб тебе пусто было, барыня!

Нуриддин не проронил ни слова.

Никогда не были они столь близки друг к другу, как в те часы... Может, и Камалиддин был зачат в ту ночь...

А на следующей неделе приехал на машине Хайдар — за вещами. Он поздоровался с ними как ни в чем ни бывало, только перед самым уходом сказал: «Не поминайте лихом». И как-то жалко улыбнулся. Насчет же-

ны Хайдар умолчал, и было заметно, что покидает он дом друга с облегчением. Тогда и понял Нуриддин: друг его — уже не прежний Хайдар. Этот другой Хайдар ни словом не обмолвился о купленном тестем доме.

Так в отношениях некогда близких друзей образовалась трещина. О поддержании дружбы не могло быть и речи, особенно на первых порах. Если где и встречались, справлялись вежливо о здоровье, один спрашивал: «Почему вы не заходите?», а другой отвечал: «Приходите сначала вы, милости просим!». Ни к чему не обязывающие фразы... Правда, накануне защиты Хайдар заехал к Нуриддину домой и пригласил их с Мастурой на банкет. «Кто старое помянет...» — вздохнул после его ухода Нуриддин. И они пошли. Неожиданно было то, что Халбека обрадовалась их приходу. Может, беременность смягчила ее нрав, а может, успехи мужа привели ее в доброе расположение духа, но так или иначе, она обнялась с Мастурой, как с давней подругой, неуклюже выставив при этом круглый живот.

Потом возникли, точнее, возобновились семейные связи. О старых обидах больше не вспоминали, по крайней мере вслух. Время шло, подрастали дети. Во время одной вечеринки в доме Эльчиева разговор зашел о детях, что резвились в соседней комнате.

«Эй, друзья, а почему бы нам не породниться?!» — воскликнул основательно захмелевший Хайдар, и с его легкой руки, стали они зваться «сватами». И для растущих детей это стало привычным.

Мало-помалу между ними установились странные отношения: пожелает семья Хайдара прийти к Эльчиевым — приходит, а к себе тех пригласят, лишь когда им самим удобно, да оловестят притом в последний момент. Словом, держались, как хозяева положения.

Ладно бы только это. Как правило, встречи с Халбекой не обходились без ее нашептываний. Покоя потом не жди: не успеют они проводить Хайдара с Халбекой, а Мастура и замечает вроде бы невзначай: «Не пойму, откуда ей все известно? Ведь целыми днями дома. Говорит, работает у вас одна интересная женщина по имени Василя. Работает и ладно, мы-то здесь при чем?» И ходит потом Эльчиев сам на себя не похож, и скребут на душе его кошки. Он давал себе слово сказать пару крепких слов этой наущнице, но всякий раз сдерживался: «Глупо терять друзей из-за мелочных женских сплетен.

И не так молоды мы, чтобы заводить новых... К тому же между нами существует уговор...»

А все дело в том, что Халбека, жена Хайдара Самадовича,— просто ведьма какая-то в шелках да атласе, когда Мастура — жена Эльчиева — милая и обаятельная!

И почему Хайдар женился на этой Халбеке? Чтобы стать вот таким Хайдаром Самадовичем?..

«...Ну и упрямец же ты, Нуриддин-бай! Я тебе еще когда говорил: «Брось ты это дело»...

...Одно мне непонятно, Хайдар, почему ты нахально лжешь мне в глаза; и я хорош — никак не решусь оборвать тебя. Хотя и сам ты, пожалуй, понимаешь, что я не верю твоим рассказам, но все равно продолжаешь лгать, а я, в свою очередь, терпеливо выслушиваю всю эту чепуху — разве это не взаимное лицемерие? Впрочем, лицемерие даже тебе к лицу, а я — лицемер поневоле. Почему так, Хайдар... Хайдар Самадович?

Впрочем, и тогда ты убежденно советовал: «Брось это дело!», а заботился, дружище, совсем об ином. В те дни я только вышел из больницы — синяки еще не сошли с лица, а обида — из сердца, да и затянувшееся следствие порядком осточертело. Вдруг звонишь. А между тем месяц от тебя не было ни слуху, ни духу. «Привет, герой! — бодро кричишь ты в трубку. — Слышал и не верил. Неужто ты и вправду подрался с какими-то сопляками? Что, решил тряхнуть стариной? Ну да ладно, дело не в этом. Понимаешь, один из этих молокососов дальний родственник моего шефа, ну и он просил, естественно, чтобы я поговорил с тобой по старой дружбе. Так что очень тебя прошу... Сделай одолжение... Заодно и вопрос с учебой Камала отрегулируем, а, Эльчиевич?» Я растерялся и не смог выдать из себя ничего путного, пробормотал вроде того: «Ладно, посмотрим».

Какая наглая торговля! Тебе, отцу четверых детей, человеку с сединой в голове, избитому хулиганами, которые в сыновья годятся, предлагают отказаться от своего законного иска, а взамен обещают перевести твоего сына на очное отделение!..

Хайдар, друг ты мой любезный, пораскинь-ка сначала мозгами, а потом скажи начистоту: откуда такая безнаказанность? Избить до полусмерти отца, оскорбить его человеческое достоинство, а в порядке компенсации облагодетельствовать его сына. Но какой нормальный че-

ловек согласится на подобное унижение, заключит столь гнусную сделку с совестью!

Переломы срastутся, синяки сойдут, упавший встанет. А сердце? Растопанное достоинство, ущемленная гордость, измученная душа?! Подумал ли ты об этом, прежде чем предлагать мне это, приятель мой?!

Верно, в прошлом году я как-то попросил тебя перевести сына на дневное отделение, решил, так лучше будет. Ты ответил: «Подумаем»,— и ничего больше. И вот после «долгих раздумий» ты вдруг вспомнил о моей давней просьбе, ты даже обещал ее исполнить, но для этого я должен сделать «одолжение, маленькое одолжение». О, у тебя далеко идущие планы: выполнишь эту просьбу шефа — еще ближе к нему станешь, поможешь Камалиддину — от него избавишься. Зачем тебе зять, живущий на стипендию? Итак, одним выстрелом — двух зайцев... Молодчина, приятель, охотник ты славный!

«...Не будет ли мне каких поручений? Может, поговорить с врачами?»

Поговори, Хайдар Самадович, поговори! Только что ты им скажешь? Они уже сделали, что могли, даже больше. Если ты еще на что-то способен, то пойди и скажи им: «Он все равно не жилец, надоело ему, помогите человеку уйти. Бросьте, не мучайте ни его, ни себя!» Услуги мне хоть раз в жизни, приятель! Знаю, даром ты и пальцем не пошевелишь, ну а если вздумаешь: кому-то помочь, то перед тем раструдишь об этом на весь свет. Я знаю об этом и тысячу раз подумаю, прежде чем просить тебя о чем-либо. О, ты готов все для меня сделать, но лишь в том случае, если тебе это выгодно...

Зачем ты пришел, Хайдар? Уходи, уходи!..

Будь Эльчиев в палате один, он сказал бы это вслух, во всю силу легких.

Но кроме него в палате пять человек: у одного забинтована рука, у другого — нога, у третьего — голова. Верно окрестили — «палата катастроф».

— Приятель мой,— сказал Эльчиев Музрабу-амаки и смущенно улыбнулся.— Когда-то учились вместе.

Тот лукаво подмигнул:

— «Пятерки» получал?

— Пятерки? Какие пятерки?

— Сам же говоришь, «учились вместе». Вот я и спрашиваю: приятель твой небось отличник?

— Да нет,— мотнул головой Эльчиев, не уловив иронии,— учился он так себе, на «троечки».

— Получал, получал,— насмешливо возразил Музраб-амаки.— Только вы не видели, не замечали...

Эльчиев пожал плечами, а все остальные рассмеялись, даже его сосед по койке, который ни с кем в палате не общался и к которому после операции никто не приходил, как, впрочем, и до нее. Значит, занятый своими мыслями, Эльчиев не заметил, куда зашел разговор. Видно, Музраб-амаки опять спорит с Хайбатиллой, парнем веселым и словоохотливым, а все с интересом их слушают.

Музрабу-амаки под семьдесят. В больнице он уже второй месяц. Но, несмотря на серьезную травму — упал с лестницы и расшибся,— держится бодро. Человек он на язык острый, и ум у него живой — все знает старик, на все имеет собственное мнение. Эльчиеву, к примеру, мигом поставил диагноз: «Никакого синдрома-пиндрома у вас нет! Нервный стресс, последствие депрессивного состояния. С каждым может случиться».

Хайбатилла, состарясь, будет, по-видимому, точь-в-точь как Музраб-амаки. Он тоже обо всем наслышан и за словом в карман не полезет. Всезнайство и сыграло с ним злую шутку: хотел объяснить попросившим закурить хулиганам, что сигареты продаются в магазинах по пятьдесят копеек за пачку, а те, не вникая в юмор, отдубасили его и довольно крепко.

Молодой шофер Марсель всегда готов подбросить дровишек в затухающий костер очередного спора двух «мудрецов» и заразительно смеется над каждой остротой. В больницу он попал после аварии. Что ни день — навевываются к нему друзья, наполняя палату запахами бензина и масла. Прихрамывая, он уходит с ними во двор и возвращается оттуда чуть навеселе; потом старательно жует сухой чай, чтобы не попасться...

Студент из Андижана, прозванный «Ашуг Гарибом»¹, парень стеснительный и потому больше молчит. Каждый вечер его навещает красивая девушка, и они тихо разговаривают, словно голуби воркуют. Так вышло, что эта девушка стала невольной виновницей того, что «Ашуг Гариб» попал сюда, так как студента избил... ее старший брат!

Думая о своем, Эльчиев слушал краем уха продол-

¹ *Ашуг Гариб (влюбленный Гариб)* — герой народного дастана «Ашуг Гариб и Шахсанам».

жение разговора. Разглагольствовал, по обыкновению, Хайбатилла:

— ...Все так и стелятся перед этим Саидваккасом, а за глаза говорят о нем всякие гадости. Даже близкие друзья! Молодой парнишка, а женился на «разведенке»—там папа, там монета—вот и задрал кверху нос. А для махалли он кто? «Зятек»! А вы заладили: деньги, деньги!

— Ерунда все это. Ерунда!—отмахнулся как от назойливой мухи, Музраб-амаки.— Ну подумай: будь у тебя деньги, лежал бы ты здесь? Вернее всего ты не влип бы в такую историю. Но даже если бы тебя и побили и ты в итоге попал бы сюда, отношение к тебе, поверь старику, было бы совсем другое. Хорошо, конечно, быть ученым человеком, обо всем знать, но разве плохо иметь заодно побольше денег? С деньгами и знания твои, чтоб ты знал, не оскудеют, наоборот! И потом, деньги с неба не падают, чтобы их заработать — голова нужна. Как говорится, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. А кто богат и умен, тот и красив, а разве плохо быть красивым? Все тебе завидуют, восхищаются тобой, вокруг тебя толпы влюбленных девушек, кивни только, и любая отправится за тобой хоть на край света. Ну как? Убедил? Не в оценках дело, ну, а если и получаешь «пятерки», то на здоровье. Об этом, мальчик, не мешало бы тебе знать!

— Знаем, знаем,— не сдавался Хайбатилла.— Все это — не ново. И зря вы сводите все к деньгам и к судьбе. По-вашему...

Хайбатилла не успел закончить,— в палату вошла няня:

— Будете есть, мои милые, или вы уже сыты своими разговорами?— спросила она.

«Будь у тебя деньги, лежал бы ты здесь?..» Эльчиев размышлял над этими словами. С одной стороны, в рассуждениях Музраба-амаки есть доля здравого смысла, но нельзя же быть таким циничным, особенно в общении с молодыми. Видно, хлебнул старик лиха... На днях он сам рассказывал о своих злоключениях, так, наверное, и родилась в его душе озлобленность на всех и вся.

— Дядя, мой отец...— сказал Нусрат, входя с двумя бумажными пакетами; следом показалась в дверях массивная фигура в коротком белом халате на крутых плечах.

То был старший брат Наджмиддин. Он поздоровался с каждым больным в отдельности и только после этого подошел к его койке. Не спеша опустил на стул, поставленный для него Нусратом.

— Ну что, опять отдыхаем?— заговорил брат с наигранным веселостью.— Или понравились больничные харчи?

— Не говорите,— виновато улыбнулся Эльчиев. Он сел на кровать и поджал под себя ноги.— С приездом, ака.

Наджмиддин несильно тряхнул его руку, мол, «не падай духом», и сказал:

— Прости, браток, что в прошлый раз не смог к тебе вырваться. Дела были...

— Как мать? Как жена, дети?

— Ничего, здоровы. Ну ты, ты-то как? И не надоело тебе здесь?

Говорит, будто ни о чем не знает! Добрая же у тебя душа, брат!

— Не стоило ехать в такую даль.

— Почему? Сел на самолет и мигом в Ташкенте. На коллегию вызвали, я к тебе домой, а там сноха говорит, что ты прихворнул.

Значит, «прихворнул»! Чья же это все-таки забота? Нусрат, конечно, он. Больше никому. Дал телеграмму, наверное, поганец. Выждал сначала немножко, чтобы не огорчать прежде времени старенькую бабушку. Но в чем его вина? В том, что сообщил старшему брату о младшем, который чудом остался жив после покушения на собственную жизнь? Не сообщи он, брат все равно бы узнал и все равно бы приехал. Он всегда рядом с ним: и в горе, и в праздник.

Эльчиев в неоплатном долгу перед своим братом. С ранних лет Наджмиддин был для него опорой, надежной опорой. Даже вещи, которые Эльчиев донашивал после него, казалось, хранили теплоту его доброго сердца. Росли они в семье небогатой, отец плотничал понемногу, не сильно вникая в дела хозяйские и просиживал все свободное время в чайхане. Не удивительно, что заботы о младших братьях, а их было трое, легли на плечи старшего — Наджмиддина.

Днем Наджмиддин работал в совхозной конторе, а вечером учился. Продолжить учебу в институте, пока не поставлены на ноги младшие братья, ему долгое время не удавалось. Зато, благодаря ему, они все получили

высшее образование. Нуриддин уехал учиться в Ташкент. А двое других — в Карши. И не держал он на них обиды, не сетовал на свою судьбу. Ведь старший брат.

Особенно любил он Нуриддина. Когда от того отвернулись все родные, один Наджмиддин поддержал его и приехал с друзьями на свадьбу. С пониманием отнесся он и к тому, что Нуриддин остался в Ташкенте. Более того, он гордился тем, что его младший брат стал горожанином и не упускал случая похвалиться его домом в столице, куда ему можно приехать в любое время без предупреждения, и где он всегда желанный гость. Разумеется, он знал о скромных достатках младшего брата, однако искренне считал работу Нуриддина ответственной и относился к нему уважительно. Порой предлагал в шутку: «Слушай, братишка, давай, меняться: я займусь инспекцией, а ты — совхозом поруководишь. Идет?»

Но при всем том Наджмиддин чрезвычайно щепетилен — попробуй уговори его остаться хотя бы на ночь. «У меня люкс в гостинице», — говорит он, потирая большие ладони. Порой не замечаешь, как он успевает побывать в городе и отчалить обратно. «Времени, братишка, в обрез. Знаешь же, что такое совхоз!» И даже во время своей заочной учебы в сельхозинституте Наджмиддин не хотел беспокоить брата, снимая во время экзаменов комнату у какой-то старухи. Говорил, что он не один, с товарищами, и ему так удобнее. А Эльчиев переживал — родной брат все же и не пожелал жить у него...

Зато не бывало, пожалуй, чтобы, будучи в Ташкенте, брат не заглянул к нему, пускай даже на часок. И всякий раз навозит дорогих подарков, так что Нуриддину делается неловко. «Ты не хмурься, братец, — говорит ему Наджмиддин. — Я это детям твоим привез и невестке». Брату очень нравится Мастура — ее гостеприимство, домовитость, кулинарные способности. А когда Нуриддин приезжает с ней в кишлак, Наджмиддин так старается угодить им во всем, что каждое невольное оброненное невесткой слово служит ему сигналом. «Нуриддин-бай, братишка мой, из Ташкента приехал вместе с женой», — радостно сообщает он каждому, кого бы ни встретил. И везет дорогих гостей то в горы, то в степь, временно оставив свои многочисленные дела.

Эльчиевым тоже не хочется ударять лицом в грязь, и когда приезжает брат, Эльчиев сам бежит на базар и в гастроном, а Мастура затевает званый ужин. Наджмиддин смущенно наблюдает за этими приготовлениями,

вища повод поскорее уйти, словно боится, что окончательно подорвет своим визитом их семейный бюджет. А они с женой расстроены: опять не сумели принять дорогого гостя как полагается. И не переубедить Наджмиддина, что жизнь в городе не такая уж дорогая, как он себе это представляет.

Но спорить с ним бесполезно. Когда умер отец, брат запретил Нуриддину давать деньги на похороны. Эльчиев, правда, пробовал возражать, но тот и слушать не захотел. «Ну как же так, Наджмиддин-ака, ведь это и мой отец», — не унимался Эльчиев. «Ну какая тебе разница, кто из нас будет платить!» — отвечал брат. Возвратясь в Ташкент, Эльчиев все же взял займы и устроил поминки в махалле: исполнил-таки сыновний долг. Но вспоминать о тех днях ему до сих пор неловко.

Или взять дни рождения... Каждый год брат исправно поздравляет его, приезжая сам, либо посылая с гостинцами кого-нибудь из домашних. Эльчиев же, к своему стыду, не помнит даже точно, когда брат родился, — знает только, что Наджмиддин старше на четыре года. И в этом году брат прислал с сыном тандыр-кебаб из целого барашка...

Задолжал он брату, здорово задолжал. Но как отблагодарить его, как рассчитаться? Или ты мой должник? Раз брат — значит должник? Если родство наше — долг, то как вернуть его? Нет, не получится! Да и как можно вернуть то, что как материнское молоко или подарок судьбы, что возврату не подлежит! Знаю, ты ничего не ждешь от меня взамен. Но почему? Неужели для этого достаточно быть просто младшим братом? Всего-то! Ты одобряешь едва ли не все мои слова и поступки, обычно ведь бывает наоборот, ты же старший. Меня это мучает, брат, а у тебя на все один ответ: «Ты же мой братишка, одна мать нас родила» — и все.

— Ваш Нусрат просто дежурит здесь... — не находит других слов Эльчиев.

— Э-э, — машет рукой Наджмиддин и чешет затылок. — Тоже шалопай. Заявил, что не будет жениться!

Самое время поинтересоваться родному дяде: а в чем дело? Но Эльчиев молчит...

Два года назад старший сын Наджмиддина окончил в Ташкенте политехнический институт. Когда он поступал, то недели две жил у них. Был Нусрат тих и по-деревенски стеснителен, так что его присутствия даже не за-

мечали, и, конечно, в тягость он никому не был. Но приехал Наджмиддин и что-то, видимо, сказал ему, так что вскоре Нусрат перебрался в общежитие. И никакие уговоры не помогли. А сколько раз Эльчиев уговаривал его вернуться, но племянник лишь с улыбкой качал головой. На последнем курсе Нусрат вовсе позабыл дорогу в их дом. Может, влюбился, гадали они, но ошиблись.

Прошел год, и Нусрат вновь зачастил в Ташкент — работает он прорабом, и потому повод для приезда всегда находится. А причина хорошо известна и Эльчиеву, и Мастуре, и другим...

В последний раз он приехал под предлогом дня рождения дяди и задержался здесь надолго — дядя попал в больницу!

— Он днюет и ночует здесь,— говорит Эльчиев после небольшой паузы.— Скажите ему, пусть идет к нам. Мне уже лучше.

— Пойдет, сегодня же пойдет,— обещает брат, задумавшись.— Я и сам несколько дней побуду. А обратно поеду, заберу его с собой. Никак не пойму его: взрослый парень, руководит на стройке людьми... Не знаю, как и быть, братишка.

И Эльчиев не знал, как разрешить этот запутанный вопрос. Одно лишь упоминание, а в сердце — будто бы десяток шипов...

Когда появилась на свет Джасура, Эльчиев решил показать ее родственникам. И в надежде, что помирится с ними, приехал с женой и крошечной дочкой в кишлак. После знакомства с Мастурой у родных явно потеплели сердца. «Хоть и городская,— говорили они,— но лучше многих наших будет»,— и желали молодым долгой супружеской жизни и рождения на сей раз сына.

Эльчиев хорошо помнит, как в один из таких дней сидели они перед обедом на супе, что посередине двора, и вдруг соседская старушка обратилась к его матери: «Чем горевать да лить слезы, что сын остался в городе, свяжите лучше вон те колыбели, Рабия,— и показала пальцем на открытую дверь.— Посмотрим, как он будет тогда чужим!»

Мать, свято верившая старинным обычаям, встретила эти слова как счастливое предзнаменование. «Как вы на это смотрите, сношенька?— тут же спросила она с надеждой.— Не посмеетесь ли потом над нами?» Мастура только мягко улыбнулась, слегка огорошенная происходящим.

Так дети двух братьев с пеленок были сосватаны. И попробуй развязать узелок, завязанный проникательной старухой!..

В позапрошлом году Эльчиевы гостили в кишлаке. «Послушайте, что невестка мне сегодня сказала,—заговорила с мужем Мастура.—«Нусрат, видать, всерьез болен вашей дочкой. Только заведу разговор о женитьбе, вспыхивает, как спичка, и ни слова в ответ. Вы не обижайтесь, невестушка, мало ли о чем когда-то сговорились, время теперь другое. Черт бы побрал эту бабку: заварила кашу, а мы — расхлебывай! И что он,— говорит,—вбил себе в голову? Неужели не поймет, что он не по душе девушке, к тому же они двоюродные брат и сестра. Ума не приложу, что делать...»

— Им самим виднее, как поступить,— задумчиво проговорил Эльчиев.

— Ты это о чем?— спросил Наджмиддин, наливая а пиалу чай, заваренный Нусратом.

Эльчиев посмотрел на дверь, за которой только что скрылся племянник.

— Да-а... я тоже так думаю, Нуриддинбай. Ты не переживай, найдется какой-нибудь выход. Выдашь Джасуру замуж, и мой образумится...

Нуриддин молчал задумавшись, вспоминая...

...Братья поднимались в гору за хворостом... Дойдя до арчовой рощицы, сделали привал. Старший оставил младшего присматривать за ослами, а сам двинулся с топором и веревкой вглубь. Оставшись один, младший не сидел сложа руки: он напоил животных, потом собрал вокруг сухие ветки и сложил в кучу. Притомившись, заскучал. Не найдя более подходящего занятия, он залез на высокую арчу и стал изучать окрестности.

Чуть поодаль слышался монотонный стук топора и треск ломаемых веток. Старший брат работает. Вот он приносит вязанку и, тяжело дыша, опускает ее у большого камня. Потом поворачивается и медленно идет за другой.

Сделав четыре ходки, он сел на камень и утер потный лоб. Переведя дыхание, тщательно отряхнулся и тут вспомнил о братишке. «Нуриддин, эй, Нуриддин!»— крикнул он, а тот не отозвался, уставясь на арчовый склон.

Старший брат снова окликнул его, уже более тревожным голосом, но младший застыл на ветке, задумав

поиграть немного в прятки. «Нури-и-и, Нуриддин! Где ты? Отзовись. Ладно, поедешь верхом, я сам понесу дрова. Нури-и! Где ты? Покажись! Я не буду больше тебя обижать!..» Брат обежал рощицу и остановился перед мирно щиплющими траву ослиами. «Где же он? Где?!» — сердито пнул он одного из них, будто тот был виновен в исчезновении братишки. Шалуна это рассмешило, и, чтобы не выдать себя, он зажал рот ладошкой.

Разве ожидал он, что брат рухнет на землю, как подкошенный, и заплачет, причитая: «Что я скажу отцу-у-у, что я скажу-у матери, а-а?..» Нуриддину стало жаль брата. Не откликнуться ли ему? А вдруг брат, разобравшись в чем дело, задаст ему трепку?

С замиранием сердца он следил за плачущим братом, пока, наконец, рыдания того не утихли. Наверно, брат устал плакать, а ему сделалось страшно: «Неужели Наджмиддин умер от горя?!» Он торопливо слез с дерева, подбежал к брату и тихо тронул его за плечо: «Ты чего это?»

Старший брат поднял голову и посмотрел на него обезумевшим взглядом. Затем вскочил и крепко прижал его к груди: «Братик мой, братик!» По щекам его катились слезы. Младший тоже не удержался, и они заголосили дружным дуэтом...

Теперь младший брат, прятавшийся тогда в ветвях, лежит вот на больничной койке, а старший, проливший столько слез, сидит подле него, и Эльчиеву кажется, что Наджмиддин до сих пор всхлипывает: «Братик мой, братик», опустошенный тщетными поисками, только рыдания его беззвучны. Вторично за последние месяцы приезжает он, получив дурную весть, и, как и в первый свой приезд, сидит вот так молча и не спросит: «Что с тобой, братишка? Зачем ты это сделал? Что тебя мучает?» Битый час сидит и не решается спросить о главном. Зачем спрашивать — причинять боль измученному сердцу? Ему и так все известно — он же родной брат, единокровный и не может не чувствовать... Кровь у них одна, а судьбы разные. И хотя страдания младшего брата для него как собственные, помочь он не в силах. Что судьбой дано...

Эльчиев смотрит на старшего брата, на сеточку морщин у его глаз и поредевшие волосы; на глаза его набегают, предательски блестя, слезы.

— Ты чего, Нуриддинбай, ты чего? — наклонясь к нему, растерянно говорит брат.

И все же есть долг, который должен быть уплачен!..

Вечером пришли сослуживцы, в четвертый раз за минувшие две недели. Не приведи господь очутиться в больнице, да еще в его положении. Посетителям нет конца, все считают своим долгом проведать. Вот и тянутся с бумажными пакетами родственники, приятели, коллеги, соседи. Кто приходит любопытства ради — узнать, как он там, оклемался? Другие для очистки совести — раз больной, надо навестить... Но хуже всего, когда в дверях появляется человек, при виде которого все внутри закипает, и волком выть хочется. Но ничего не поделаешь, ведь человек специально пришел к тебе, потратил личное время и, следовательно, заслуживает того, чтобы ты лицемерно постылуешь физиономию и десяток раз повторял на прощание «спасибо», прикладывая к сердцу руку.

В прошлый раз благодаря жене никто не знал, где он. А теперь... словно глашатай по городу проехал или же «Вечерка» объявление напечатала: от людей отбоя нет. В первые дни он вообще поворачивался ко всем спиной, не желая разговаривать. Потом, однако, свыкся с этими выражениями сочувствия и терпеливо сносил расспросы о своем самочувствии. Раз тебе не удалось задуманное, раз остался жив, раз можешь говорить, то будь добр — отвечай!

Через день наведывается Рузиев. Приносит то плов, то горячую самсу, а живет-то в другом конце города. «Жена специально для вас приготовила», — уговаривает он Эльчиева поесть. Эх, если бы он был голоден! Едва Рузиев уходит, Эльчиев выкладывает все на стол, настойчиво приглашая к нему соседей по палате, особенно больного, к которому никто не приходит.

Рузиев совсем ему не приятель. По натуре общительный, Эльчиев даже недолюбливал этого скрытного и чересчур угрюмого инспектора. При встречах «здравствуйте» да «прощайте» — вот и все отношения. И дома у Рузиева он был лишь однажды, на тое, традиционно исполнив роль шеф-повара. С того самого дня Рузиев проникся к нему особой симпатией. От Мастуры он узнал, что именно Рузиев стоял в больничном коридоре на следующий день после случившегося и плакал навзрыд, словно ребенок.

Странно, с виду сухарь, а в душе...

Дважды был у него и старичок-вахтер Шамурадака. «Отведайте, мулла Нуриддин, — уговаривал он, предлагая вкусно пахнущие манты, — старуха моя вам послала. Кушайте, поправляйтесь».

Старик его уважал: едва заметит Эльчиева в вестибюле, тут же протягивает ему пиалку чая, будто бы специально заваренного к этому моменту, и спрашивает про житье-бытье. Удивительный старик. В больнице он первым делом прочитал Эльчиеву мораль:

— Благодарите аллаха, что остались живы, мулла Нуриддин. Чего только не случается в жизни! Но если вы постоянно будете повторять: «И на том спасибо», не пожалеете. Поверьте, братец, моему слову: тот, кто замыслил зло, будет наказан. А если кто-то ни за что ни про что обидел вас, так придет день, и этот человек понесет заслуженную кару. Вы что думаете, он там наверху без дела сидит, да? Он все видит, во всем разбирается и делает выводы. У него две тетрадки: в одну записываются ваши добрые дела, в другую — грехи. Попробуй-ка потом увильнуть от ответа! Не-ет, не выйдет! Поэтому человек обязан оценивать каждый свой шаг: ступил не так — в тетрадке грехов отметочка. Всем потом придется держать ответ! Не зря говорится: «Любое зло наказуемо». Так-то вот, мулла Нуриддин.

Слушая наивные стариковские мудрствования, Эльчиев улыбнулся, впервые, пока лежал здесь:

— Скажете же, отец! Значит, есть у него и тетради...

— Есть, есть! — быстро закивал старик, словно только вчера держал их в руках.

Если есть тетрадь, хватит ли в ней страниц, чтобы записать все гнусности, что творятся на белом свете? Или для них есть отдельная тетрадь? Бумаги там, по-видимому, в избытке...

Среди тех, кто пришел к нему этим вечером, были завотделом Артык Исламович, старшие инспектора Тураматов и Зиямухамедов, экономист Бахрам и... Муминбаев! При виде Муминбаева ему даже нехорошо сделалось, и, пока они у него сидели, Эльчиев избегал смотреть на этого человека, один вид которого был ему неприятен.

С Муминбаевым они работают в одном отделе вот уже шесть лет, но так и не разобрался Эльчиев, что это за человек? Лицо у Муминбаева — холодное и непроницаемое, словно маска, а что внутри — поди разберись. Такие лица обычно у людей молчаливых, а этот, напротив, шутник да балагур, со всеми запанибрата — знаком с человеком или не знаком. Поговорит минуточку-другую, смотришь, тот уже для него «дружище»: и по плечу его

похлопает, и очередную остроту выдаст, да такую, что не поймешь, смеяться или впору обидеться.

Эльчиева дрожь пробирает, когда он слышит муминбаевский голос, особенно после одного разговора. Но, как назло, Муминбаев обязательно приходит с остальными коллегами. Ладно бы помалкивал или хотя бы соблюдал элементарные приличия, так нет, хватило нахальства спросить: «Интересно, а как вас, старина, откачали?» Эльчиев знал, Муминбаев не отвяжется, пока не услышит подробного рассказа. С каким трудом он сдержался! «Увы, после того, как я потерял сознание, прошло, видно, мало времени,— вошел сын и...»— стал объяснять Эльчиев дрожащим голосом. «Э-э, надо было держать руку под водой!»— перебил его Муминбаев, чем смутил всех пришедших. Эльчиев попытался обратиться эти слова в шутку, но желчь все же прорвалась наружу: «В следующий раз, братец, я сделаю именно так, как вы советуете...»

Когда сослуживцы несколько дней спустя пришли без Муминбаева, у Эльчиева даже вздох облегчения вырвался. А когда Турамаатов со смешком рассказал о том, что накануне к Муминбаеву в дом забрались воры, Нуриддин даже позлорадствовал про себя. Правда, сразу стало как-то неловко за эту безотчетную радость: в конце концов, плох ли Муминбаев, хорош ли, а жалко человека.

Ну, а в другой раз пришел сам Муминбаев, верней, заскочил на минутку и, смакуя каждое слово, поведал, как все было. Сочным баском расписывал он эту кражу, а Эльчиев никак не мог взять в толк, откуда такое легкомыслие?

...В тот день, возвратясь с работы, Муминбаев с удивлением обнаружил входные двери открытыми. В квартире все было вверх дном: постели перевернуты, одежда разбросана, стулья опрокинуты. Пока он соображал, в чем дело, вернулась и жена. Не снимая обуви, она кинулась в спальню, и через мгновение оттуда донесся ее сдавленный вопль: из шкафа исчезли завернутые в китайское полотенце драгоценности. Впрочем, Муминбаев не сильно расстроился. Невелика потеря! Жена-то не знала, что бриллианты в украденных серьгах фальшивые. Вызвали милицию, составили акт, а так как имущество было застраховано, то он рассчитывал получить в скором времени полторы тысячи!

Прямо сказка! Ни стыда, ни совести у человека. Дру-

гой постеснялся бы такое рассказывать, а этому хоть бы хны — веселится даже, об одном лишь сокрушается — на новый замок раскошелиться придется.

И вот опять перед ним это самодовольное лицо. Ухмыляется, значит, прихватил с собой воз сплетен!

— Лежите, Эльчиев, отдыхайте! Вы сегодня молодецом! — весело проговорил Муминбаев.

Эльчиев, привыкший к подобным замечаниям, лишь слабо кивнул.

— Проходите, пожалуйста, — пригласил он всех в палату.

Сослуживцы вошли, и Муминбаев поспешил выложить свежую новость:

— Знаете, пока вы здесь загораете, Надыра Файзуллаевича, начальника нашего родного, перевели на другую работу.

— Не может быть! — воскликнул Эльчиев. — А почему?

— На повышение пошел, в министерство, — развел руками Артык Исламович.

— Вот-вот, — подтвердил Муминбаев.

— А кого же взамен? Уже назначили?

— Мы еще не решили. Ждем, когда вы поправитесь, — съязвил Муминбаев.

Потом речь зашла о достоинствах и недостатках бывшего шефа. Турамаев и Зиямухамедов обвиняли того едва ли не во всех смертных грехах, в то время как Артык Исламович активно им возражал. Муминбаев держался золотой середины, принимая сторону то одной, то другой половины. Бахрам слушал и помалкивал — новичок.

Известие было для Эльчиева столь неожиданным, что он и не воспринял как следует спор сослуживцев.

— У вас, быть может, есть, что сказать нашему руководству? — спросил перед уходом Муминбаев. — Мы, как таковое появится, передали бы...

Эльчиев выслушал и этот вопрос, так и не удостоив Муминбаева ответом; попрощался со всеми рассеянно — да и как иначе, если мысли далеко-далеко, в тех злополучных днях...

Удивительно, как он все это вытерпел, в особенности в первые дни после выписки, ведь покоя не было ни дома, ни на работе. Дом походил на потревоженный улей: какие-то женщины со свертками, посредники; следом — обещания, угрозы, сплетни, слухи...

На службе такая же чехарда — хоть на обед не выходи. Всякий, кому не лень, подходит, заглядывает в глаза, даже руками трогает. Качая головой, интересуется, из-за чего началась драка, сколько их было, пьяные или нет, как били, что говорят врачи, как идет следствие?.. И в том же духе. А одному кто-то наплел, что его убили, и бедняга чуть в обморок не упал, когда они встретались в коридоре.

В отделе, едва выпадала свободная минута, его засыпали советами и предостережениями. Учили, к примеру, как давать показания, советовали, как составить письмо в газету, для подстраховки. Те-то наверняка не сидят сложа руки, понимать надо. А с деньгами чего не сделаешь? У них — связи, но без переделки медицинского заключения им все равно не обойтись. Так что надо быть предельно осторожным, эти люди ни перед чем не остановятся...

Сплошное беспокойство, сплошные треволнения...

Но все это — ладно, это — куда ни шло. Но как остертели ему вызовы в милицию! Следователь, который поначалу как будто был на его стороне, спустя какое-то время заговорил совсем по-другому: «Знаете, а вы, оказывается, сами во всем виноваты,— заявил он как-то Эльчиеву.— Ведь вы были в нетрезвом состоянии, когда пристали к парням? Не так ли? Просили вас уйти по-хорошему, так вы давай ругаться нецензурной бранью. Да вас самих следовало бы привлечь к ответственности!» На мгновение Эльчиев лишился дара речи, но, благо, замешательство его было недолгим. Выхватив из вороха бумаг, что лежали на столе, медицинское заключение, он поднес его к самому носу следователя: «это, это что?! Учтите, если я не найду правды здесь, найду ее в другом месте!»— пригрозил он и решительный вышел из кабинета, с силой хлопнув дверью. И, как выяснилось в дальнейшем, правильно поступил.

«Вы меня не совсем правильно поняли,— сказал ему следователь, когда Нуриддин явился к нему в очередной раз.— Поверьте, ака, все не так просто, как вам кажется».

Больше Эльчиева в милицию не вызывали, а он сам не ходил, решив про себя — будь что будет!

Но на душе у него было неспокойно, обида не проходила! Отпустит немного, так вновь кто-то или что-то напомнит об этой истории. Ночью он вскакивал от кошмарных снов, днем шараялся в сторону от случайных

прохожих, словно бы опасаясь внезапного нападения. Он чувствовал себя виноватым перед женой, детьми, знакомыми, родственниками, перед всем миром.

Мысли, мысли, мысли...

Однажды вечером он застал дома незнакомых женщин. Приняв их за каких-то новых свах, Эльчиев повесил плащ и молча прошел в спальню. За ним следом — жена.

— К вам женщины... насчет того самого...— сказала Мастура.— У одной—сын, у другой—брат, у третьей—муж. Хотят поговорить с вами. Сидят вот и плачут. Уж больно мать убивается, говорит, он у нее единственный и неженатый еще, заклинала меня именем материнским, чтобы вы не губили его. А молодуха — в положении. В общем, простые, хорошие, видно, женщины, и жалко мне их стало; по-человечески жалко...

— А мужа своего тебе не жалко?!— вскипел Эльчиев, сжимая до боли кулаки.— Муж, выходит, по боку! Скажи им, что я ни с кем не желаю разговаривать, все, что нужно, я уже сто раз говорил следователю, и мне нечего к тому добавить!

Но на этом визите дело не кончилось.

Дня два спустя к ним в отдел заглянул незнакомый мужчина лет тридцати пяти и, пройдя к его столу, вежливо приподнял шляпу:

— Нуриддин-ака? Здравствуйте.

— Здравствуйте,— удивленно посмотрел на него Эльчиев.

— Вы не могли бы уделить мне несколько минут?

— Пожалуйста.

А — Если можно, наедине.

— Идемте,— сказал Эльчиев и вывел гостя на небольшой балкон в конце коридора, излюбленное место курильщиков. Подозрительно оглядел незнакомца:— Чем могу быть полезен?

Тот облокотился на перила и посмотрел вниз.

— Ох-хо, как высоко!— сказал он с улыбкой.— Интересно, что будет, если упасть отсюда?

Эльчиев невольно вздрогнул и отшатнулся от перил. Тысячу раз выходил он на этот балкон, но никогда не думал об этом.

Семью этажами ниже гудела улица; сновали туда и обратно автомобили, спешили куда-то люди, которым не было никакого дела до человека, стоящего на узком балкончике.

— Ну, я вас слушаю!— нетерпеливо проговорил Эльчиев, упираясь спиной в дверь.

— В общем, такое дело, брат...— вперил в него колющий взгляд незнакомец...

Сопляки, что с них возьмешь? Выпили в тот день, ну, самую малость, и давай выяснять друг с другом отношения, а тут, как на беду, подвернулся он, Эльчиев. Бывают же такие несчастные совпадения. Парни они хорошие — мухи не обидят, непонятно, уму непостижимо, что на них такое нашло. Но теперь они все осознали и просят, искренне просят простить их. На колени готовы встать. Ну что поделывать, коли случилось! Надо пощадить юные души — да ладно их самих — родителей, деток малых... Зачем отрывать их от семей? Нет, серьезно, они вовсе не плохие ребята: двое в магазине работают, а двое других учатся. И родственников у них повсюду... Даже та-ам! Так что если этой истории дать ход, родственники могут и обидеться. А к чему обижать уважаемых людей? Парней все равно выпустят, рано или поздно, так не лучше ли сразу разойтись по-мирному. Тем более оплатят это вполне прилично. Дадут, например, машину, а хочет — деньгами. Чем не цена?

— ...Короче, братец, считай, десять штук у тебя в кармане!— небрежно заключил незнакомец.

— Что?!

— Ну десять тысяч...

— Десять тысяч?!— испуганно выдохнул Эльчиев.

— А что, мало?

Эльчиев нервно захлопал по карманам в поисках сигарет. Но вспомнил, что оставил пачку на столе, и занервничал еще больше.

Ладно, предположим, он согласится и получит десять тысяч. Но унижение, как быть с унижением! Ведь сердце до сих пор болит... Кто же все-таки за эту боль ответит? Кто заплатит за его муки, страдания?! Хотят купить, взять хотят, как ребенка красивой игрушкой! А потом посмеяться над его падением, над унижением его!

— Мало! Мало!— испуганно закричал Эльчиев.— Сто тысяч!

— Ого-го-го! Ну и аппетиты!— обалдел незнакомец.

— Ни меньше! Ни копейкой меньше!— сказал Эльчиев твердо и, глядя, как вытягивается от удивления лицо незнакомца, добавил: — А кто вы, собственно, будете и откуда?

Незнакомец после некоторого замешательства назвал

какое-то имя и так же на ходу сочинил какую-то до не-
лестности длинную аббревиатуру места работы. Эльчиев
так и не вник в нее, потому что в голове его вертелось:
«Посредник, посредник... грязный маклер, торгующий
чужой бедой... барышник... мразь!..»

Эльчиев вновь оглядел незнакомца. Ни одной сколь-
ко-нибудь запоминающейся черты во внешности: обыкно-
венное лицо, похожее на тысячу других, растворяющееся
в толпе, как капля в стакане воды. Сколько людей с
такими лицами ходит по улицам, и он — обычный пред-
ставитель людского племени, один из них...

— И не стыдно вам?!— сказал Эльчиев и, резко по-
вернувшись, вышел в коридор.

— Пожалеешь!— бросил ему вслед незнакомец.

Сгоряча он рассказал об этом разговоре сослужив-
цам. Потом понял, что дал маху, и корил себя за это.
Да чего уж там корить!.. Муминбаев, как всегда, бесце-
ремонно посоветовал:

— Догоните его, Эльчиев! Синяки и шишки — черт
с ними, пройдут, а деньги — останутся! Ни за что, можно
сказать, предлагают десять тысяч, вы только подумай-
те — десять тысяч, а он еще размышляет! Десять тысяч!
Есть же такие денежные мешки! Эх, окажись я на вашем
месте...

В понедельник утром позвонила секретарша из при-
емной: «Товарищ Эльчиев, вас Надыр Файзуллаевич
просит».

Надыр Файзуллаевич?! Эльчиев заволновался. Надыр
Файзуллаевич, начальник, просит к себе его, Нуриiddина
Эльчиева! Почему? По какому вопросу?

Эльчиев ни разу не был в кабинете шефа и не гово-
рил с ним с глазу на глаз; на работу его принимал дру-
гой начальник, было это давно и еще в старом здании. А
сколько руководителей сменилось на его веку, он и не
помнил. Эльчиев — рядовой сотрудник, маленький чело-
век в крупном учреждении, и, если начальник не вызы-
вает, с какой стати, спрашивается, он пойдет к нему
сам? Да и какие дела могут быть у него к начальству,
если любой вопрос можно решить несколькими этажами
ниже. А Надыр Файзуллаевич — руководитель. Фигура!
И все вокруг твердят, какой он замечательный человек.
Говорят, кто бы ни зашел к нему с просьбой, выходит от
него с надеждой. Может быть... Откуда Эльчиеву знать?
Он видел Файзуллаева крайне редко, в основном на соб-

рапиях, сидящим в центре президиума. Правда, когда-то они учились на одном курсе, только в разных группах, но и в те годы не были близко знакомы; бессменный комсорг, он запомнился Эльчиеву больше тем, что всегда был при галстукке и деловито расхаживал по коридорам с какими-то бумагами. В позапрошлом году он молнией сверкнул на финансовом небосклоне, получив руководящий пост у них в учреждении. Поговаривали, что это лишь трамплин к его будущему восхождению и, как оказалось, не зря.

Однажды Эльчиев побывал даже у него дома: прошлой осенью у Надыра Файзуллаевича умер отец, и сотрудники в переполненном служебном автобусе поехали выразить соболезнование к нему на Бадамзар, в живописную махаллю — нешумную, утопающую в зелени. Там у ворот, в окружении высокого начальства и научных светил, скорбно опустив голову, стоял Надыр Файзуллаевич в подпоясанном чапане и тюбетейке. Эльчиеву стало жаль его — он вспомнил, как умер собственный отец... Пройдя со всеми во двор, он едва не схватился за голову: поминки это или свадьба?! Какой стол! Какое великолепие! А двор! Не двор, а дворец: высокие виноградники, цветники с обеих сторон, а посередине мраморный фонтан...

И вот этот человек просит его к себе. Зачем? По какому вопросу?

Он вышел из его кабинета опустошенный, сломленный и разбитый! И трудно теперь ему быть самим собой, трудно...

Нет, он цел и невредим — тело его покинуло кабинет Надыра Файзуллаевича, а душа... душу его вынули: так тихо и незаметно, что он и не почувствовал!

Как только он несмело ступил в раскрытую секретаршей дверь кабинета, так словно попал под действие некоего силового поля. Неведомая сила усадила его в мягкое кресло, убаюкала сладкими-пресладкими речами. Потом нежные тонкие пальчики приятно гладили его по спине. Удовольствие, одно удовольствие! Он чуть задремал, и эта сила положила что-то на язык. То был мед! Вдруг язык занемел от холода, и он перестал ощущать его во рту. Тогда он услышал: «Зачем вам эта вещичка, без нее вам будет куда спокойней», — чирк, и нет языка! Просто, все очень просто! А затем началось наступление на его душу...

И теперь он тело без души. Труп...

Надыр Файзуллаевич встретил его широкой улыбкой. Он вышел из-за стола, что находился в глубине, и двинулся к нему навстречу с протянутой для приветствия рукой. Крепко пожав ему руку, Надыр Файзуллаевич жестом указал на одно из кресел у журнального столика и сам сел напротив.

Эльчиев осмотрелся. Все было значительно в этом кабинете: и блестящая полированная мебель, и картины на стенах, и книги в шкафах, и алые папки на столе, и пять телефонных аппаратов в ряд... Пока Эльчиев изучал эти аппараты, Надыр Файзуллаевич снял салфетку, — на узорчатом подносе стояли высокие фужеры и необычной формы бутылки.

Надыр Файзуллаевич налил в фужер минеральной воды и, протянув его Эльчиеву, кивнул на сладости в вазочке:

— Угощайтесь, пожалуйста.

— Спасибо, спасибо.

— Я вот все думал, откуда мне знакома ваша фамилия, а потом догадался: ну, конечно, это Нуриддин-ака — старый знакомый, однокашник! И не заходите совсем, будто не помните меня. Как же так?!

От удивления брови Эльчиева поползли вверх. «Ака»? Он говорит мне «ака»? Он знает меня и помнит мое имя? И даже обижен, что я не захожу к нему? Надо же! Нет, не напрасно хвалят этого человека!

Да, нередко мы кого-то ругаем за глаза, а порой и ненавидим без видимых причин. Может, это действительно дурной человек, но ведь может быть и наоборот. Вот и Эльчиев невзлюбил Надыра Файзуллаевича, полагая, что тот — выскочка и карьерист. Теперь он понимал, что просто не знал его.

Манзура внесла на маленьком подносе чашечки с кофе. Надыр Файзуллаевич взял одну из них и протянул Эльчиеву.

— Себе, пожалуйста, себе, — засуетился тот и пояснил: — У меня с желудком плоховато.

— А-а, если так... — понимающе закивал Надыр Файзуллаевич.

Эльчиев с интересом смотрел, как Надыр Файзуллаевич пил кофе: сделает глоток из чашечки и тут же запьет минеральной водой. А движения при этом свободные, непринужденные, как у дипломата. И вообще, трудно не позавидовать его импозантной внешности: ни седого волоска на голове, волосы смоляные, волнистые;

зубы, как на подбор — белые, ровные; ладная, подтянутая фигура; об одежде и говорить не приходится — высший класс! Выглядит лет на тридцать с небольшим, а ведь они с Эльчиевым однокурсники и, стало быть, ровесники. Странно, видно, должность, ко всему прочему, молодит, заставляет держать форму!

По комнате тихо потекла нежная мелодия. Казалось, она пробивается ручейком сквозь толщу стены и заставляет замирать в сладостной истоме сердце Эльчиева.

— Ахмад Заир,— сказал Надыр Файзуллаевич.— Афганец. Чудный голос, не правда ли?..

Допив свой кофе, Надыр Файзуллаевич спросил, что у Эльчиева с желудком, и пообещал достать какое-то импортное средство. Затем вдруг вспомнил студенческие годы, рассказал о том, где ему довелось работать, поинтересовался он и личной жизнью Эльчиева, его работой и не скрыл своего удивления, что тот до сих пор ходит в инспекторах. Словом, держался он так, будто перед ним сидел близкий друг его юности, с которым он не виделся целую вечность. Но все это было прологом, которым Надыр Файзуллаевич предварял основной разговор. Наконец он подошел к делу.

Сначала оговорился, что люди они с Эльчиевым молодые и потому особо должны заботиться о своих детях. Не к лицу придавать значение мелким ссорам, растрачивать себя по пустякам и тем более иметь дело с милицией. Слышал он, что с ним приключилось. Дело щекотливое, задевает кое-кого, и потому возможны любые дурные последствия... Лучше уж оставить котел закрытым, чтобы не обжечься, и не связываться с этими людьми...

Обо всем этом Надыр Файзуллаевич говорил с такой искренней заинтересованностью, что Эльчиев ловил его слова на лету. Еще немного, и Эльчиев прослезился бы. Чего стоила одна лишь фраза: «Ведь у вас взрослые дети — сын и дочь; надо бы и о них позаботиться. У меня ведь тоже сын и дочь — первенец, любимица моя, первая радость, боль, счастье, несчастье...»

Вдруг он почувствовал звон в ушах, а за ним тишину, такую тишину, от которой лопаются барабанные перепонки. Когда же смолкла та сладкая мелодия?

Песня кончилась, праздник прошел и теперь...

— Мой вам добрый совет, Нуриддин-ака,— сказал Надыр Файзуллаевич и похлопал его по руке,— напишите новое заявление! В противном случае...

Эльчиев с мольбой посмотрел на него, согласный заранее со всем, что тот скажет. Попроси Надыр Файзуллаевич сейчас его душу, Эльчиев отдал бы без раздумий! А разве не просит?..

Надыр Файзуллаевич положил перед ним лист бумаги, затем достал из кармана красивую ручку: «Пожалуйста». Больше ничего не сказал, лишь ободряюще улыбнулся. От этой улыбки, казалось, просторней и светлей стала комната, и у Эльчиева отлегло от сердца...

Торопливо, размашистым почерком он написал, что не имеет претензий к гражданам таким-то (перечислил фамилии), что сам был частично виновен в происшедшем. Закончив, несмело вернул ручку и лист Надыру Файзуллаевичу. Тот, пробежав глазами текст, остался доволен:

— Прекрасно! Вы мастерски все изложили. А ручку возьмите себе на память, я ее, кстати, из Сирии привез.— Потом он взял Эльчиева под руку и проводил до двери.— Заходите, Нуриддин-ака, не забывайте, буду рад вас видеть.

Вот и весь разговор...

Из кабинета Надыра Файзуллаевича Эльчиев поспешил на балкон. Жадно затягиваясь, он вдруг подумал: кто же именно из этих четверых, избивших его, хулиганов доводится родственником Файзуллаеву?

На одном из нижних этажей застучали. Там шел ремонт и работали плотники. «Есть! Есть! Есть!»— дружно били молотки по его натянутым нервам...

В отделе все с нетерпением ждали его появления и, как только он вошел, забросали вопросами:

— Ну что? Какие новости? Переводят в другой отдел?..

— Э, оказывается, он мой родственник,— неожиданно ответил Эльчиев и тяжело опустился на стул.

— Кто? Надыр Файзуллаевич?!

— Не-ет, тот парень.

— Какой парень? При чем тут парень?! Что за чушь вы несете, Эльчиев, что с вами?

— Один из тех...

— Кто бил?— догадался Муминбаев.— А пусть даже и родственник. Какая разница? Надо брать, пока дают. Бестолочь!

С этого дня и стало не узнать Эльчиева. словно взяли его и подменили. И живет теперь в Нуриддине Эльчиеве совсем другой человек...

Когда через день-другой понуро, чужой, шаркающей походкой шел он по вестибюлю, его подозвал старый приятель Шамурад-ака.

— Знаю я, сынок,— сказал он, наполняя пиалу.— Рассказывали мне про ваши беды. И что за напасти на вашу голову? Но раз уж остались в живых, то соберите людей, угостите... Такой обычай, сынок...

Эльчиеву пришлось по душе совет старика, и Мастура не стала возражать. Сразу прикинули, кого позвать да что купить. Близился к тому же день рождения Эльчиева, и оба события решено было объединить.

Эльчиев заглянул в сберкассу и взялся за покупки. Привычно он приглашал в назначенный день кого бы ни повстречал, менее всего заботясь, хватит ли места. Позвонил и старшему брату. «Извини, братишка, у меня комиссия в совхозе, вряд ли вырвусь,— сказал Наджмиддин.— Но я обязательно кого-то пришлю. Вероятней всего, Нусрата».

Эльчиев очень хотел, чтобы брат приехал именно сейчас, и, хотя причина отказа представлялась достаточно веской, он обиделся. До последнего часа он не терял надежды и, лишь увидев Нусрата, прибывшего с полным хурджуном мяса и фруктов, понял, что брата ждать уже бесполезно. Он был сильно раздосадован, тем более что с утра не оставляло его дурное предчувствие.

К вечеру на открытой террасе двора стал собираться народ. Подъехавший на машине сына Шамурад-ака похвалил стол, приготовленный Эльчиевым, но и это не взбодрило мрачного хозяина.

Когда сели за стол, раздражительность его только усилилась; с озабоченным лицом ходил он меж гостей, словно бы не мог кого-то досчитать. На самом деле собрались практически все приглашенные, не было лишь тестя и Хайдара Самадовича. Но Эльчиеву казалось, что гости потешаются над ним как раз из-за отсутствия этих двух человек.

К тестю Эльчиев посылал вчера Мастуру, и тот обещался быть, а Хайдару Самадовичу он сам звонил дважды и слышал в ответ: «Приду, как же не прийти!» Выходит, обманул? Погнушался его угощением?

А гостей собралось — яблоку негде упасть: три комнаты и терраса во дворе были полны людей. Жена с дочерью и помогавшие им соседки сбились с ног. Нусрат жарил внизу тандыр-кебаб, а средний сын Эльчиева Низамиддин с ватагой быстроногих товарищей носили

готовые шашлычные палочки в дом. Рузиев тоже не усидел, пришел помогать Нусрату.

За столом разговорчивый Турамаатов взял на себя обязанности тамады и сыпал забавными анекдотами. Поочередно он давал слово тому или иному гостю, и следовала традиционная похвала славному угощению, а за ней — дифирамбы хозяину дома, виновнику торжества — удивительному человеку, прекрасному семьянину, верному другу, замечательному экономисту Нуриддину Эльчиеву! Чудесно! Чудесно! Чудесно!..

Но разве до сего дня Нуриддин Эльчиев был плохим человеком, плохим отцом, плохим другом, плохим специалистом? Почему лишь во время застолья звучат в его адрес медоточивые речи? Или только сейчас выяснилось, что он за человек? Где ж вы раньше были, люди?..

Временами ему начинало казаться, что застолье происходит вовсе не у него дома, а звучными эпитетами награждают кого-то другого. К тому же в голове уже зашумело, он осоловел после двух рюмок, набегался, видно, за день да и с утра не имел во рту маковой росинки. Нервозность, конечно, тоже дала о себе знать. Да это все, конечно, — сон, и говорится все во сне..

Да еще сослуживцы принесли с собой новость, которую он переваривал весь этот вечер. Ее сообщил Муминбаев, прямо с порога, будто надеялся получить суюнчи¹: «Если уж бог дает, Эльчиев, то обеими руками!» Оказалось, что утром Надыр Файзуллаевич снова вызвал к себе Эльчиева. Когда Артык Исламович доложил, что Эльчиев отсутствует, он попросил зайти его самого. Узнав от Артыка Исламовича о готовящемся в доме Эльчиева празднестве, шеф неожиданно посетовал: «Жалко, что я не смогу побывать на этом торжестве, очень жалко — улетаю вечером в Москву, но вы непременно поздравьте его от моего имени. Кстати, у нас есть для него подарок...» Надыр Файзуллаевич пригласил секретаршу и в присутствии слегка ошарашенного Артыка Исламовича поручил подготовить приказ о назначении Эльчиева на должность заведующего экономическим отделом вместо ушедшего недавно на пенсию Абдураззакова!..

А квартира тем временем потонула в оживленном гомоне: за весельем, шутками несколько забыли о ви-

¹ Суюнчи — подарок за радостную весть.

повнике торжества. Был бы хорош собеседник, а там не все ли равно, у кого угощаться...

Низамиддин сбегал к соседям за магнитофоном. Заиграла музыка, под одобрительные возгласы Бахрам с Зиямухамедовым вышли на середину комнаты и, покачиваясь, стали танцевать. «Эльчиева в круг!» — выкрикнул Турамаатов и тут же потащил Нуриддина Эльчиевича танцевать. Вдруг он увидел, что Мастура плавно движется ему навстречу. Эльчиев выгнул грудь и, поводя плечами, пустился в пляс. Гости зашумели, зааплодировали: «Молодец Нуриддин Эльчиевич!», «Давай, Нуриддин-ака!» Эльчиев танцевал, а в глазах его стояли слезы. Он не знал, сколько времени длился этот танец. Опомнился лишь за столом, куда не без труда усадила его жена. Перебрал он немного, нехорошо, нехорошо, стыдно перед людьми, надо взять себя в руки.

Очередной тост произносил Муминбаев. Он, не жалея красок, расписывал достоинства «замечательного человека». Пропустить бы эти разглагольствования мимо ушей, так ведь нет — уловил он одну фразу, которая задела его за живое. Он моментально протрезвел и насторожился. И надо было ему услышать!

Наконец гости начали расходиться, и каждого он провожал до двери. «Хорошо ли посидели? Как, нормально?» — уважительно спрашивал Эльчиев. Подойдя к двери с последними гостями, он столкнулся лицом к лицу с Камалиддином. Тот стоял на пороге, язвительно улыбаясь. Они не виделись со времени их ссоры. Сын держал в руках три гвоздички и какой-то сверток подмышкой.

— Поздравляю, папа, — дыхнул Камалиддин водочным перегаром.

— Мой сын, — сказал Эльчиев, но не с гордостью, скорей с желчью.

Он вышел с гостями на улицу и, вернувшись, увидел, что в гостиной прибрано и мебель расставлена по местам. «Как быстро управились!» — подивился Эльчиев и сразу же пришла догадка, что слишком долгими, по-видимому, были проводы. В кухне шумела вода, позвякивала в мойке посуда, а на балконе — голоса, смех, звон рюмок. Он воровато заглянул туда: Камалиддин с рюмкой в руке, в окружении Нусрата и каких-то незнакомых парней, в углу в накинутом на плечи кожаном пиджаке — Дина...

Эльчиев молча прошел к себе; Мастура, утомленная

приготовлениями, крепко спала, не слыша его прихода. Несмотря на страшную усталость, спать Эльчиеву не хотелось, и он подошел к окну. Позже он услышал топот ног в коридоре. Он вышел на опустевший балкон и зажег сигарету. Тут на живую изгородь упала из соседнего подъезда полоска света и донеслась знакомая мелодия: «Жизнь невозможно повернуть наза-ад...»

Опять та песня...

Жизнь прошла, ее невозможно повернуть... Жизнь жизнь... невозможно, невозможно... повернуть, повернуть...

Эльчиев тревожно заходил взад-вперед, потом остановился у стола и плеснул в пиалу из недопитой бутылки. Выпив, он не почувствовал во рту горечи, словно то была — вода. Снова налил и выпил, и снова, и снова...

Вот пришли и ушли люди... Погуляли, отдохнули от своих забот, наплели бог весть что про него и разбрелись по домам. А его оставили наедине с тягостными мыслями. Да ладно бы так... Но поглядите, что говорит Муминбаев: «Теперь, Нуриддин Эльчиевич, не тратьтесь без нужды, может, на остальные машину возьмете!» Негодяй! Мразь! Значит... значит, все так считают? Все до единого! Какой стыд, какой позор! А ты, глупец, пользуясь своим днем рождения, рассчитывал забыть, хотя бы на вечер, в кругу друзей и знакомых обо всех переживаниях. А что получилось? Хорошо же ты обмыл свое исцеление, лучше не придумаешь...

Хотя, чем, собственно, ты можешь похвалиться в свои сорок восемь? Сыном, в котором почти разуверился, или дочерью, ставшей игрушкой в руках подлеца? Может, всю жизнь будет клясть она свой несчастный род. Чего же ты все-таки достиг за эти сорок восемь лет? В такой день старший брат, и тот не приехал, и близкий друг отвернулся. Конечно, брат — большой человек, директор совхоза, принимает комиссию. Но неужели нельзя было вырваться на денек?! А друг... Хайдар Саматович! Он явно не спешил к тебе, да и какой прок ему от тебя? Он просто тебя обманывал — всю жизнь водил за нос... Почему, почему у тебя все так мелко и ничтожно?! Ладно, сегодня тебя нежданно-негаданно пересадили в другое кресло. Но опять же почему? За какие такие заслуги? Чем ты заплатил за это? Вспомни! Ага, ты и не забывал об этом?! Ну, хватит... Устал... Устал от всего... Чего еще ждать?..

Словно кто-то подтолкнул его в ванную комнату. Ну

же, ну... И не будет ни насмешливых взглядов, ни сосущей боли в сердце. Ничего не будет... Какое радостное чувство освобождения! Освобождения от всего, что навалилось на него... Вот и конец! Ты избавился, избавился от всего!..

...Потом, глубокой ночью, Камалиддину захотелось пить, и он пошел в ванную... Открыл дверь... окровавленный отец, хрипя, лежит на полу! И все...

Потом...

Кровь или усыпанный тюльпанами луг? Это луг на горном склоне, виденный в далеком детстве. А разве он не ребенок? Когда он успел повзрослеть, когда?.. Почему время летит, проносится резвым ребенком? Пролетает... Если пересечь этот луг напрямик, попадешь в кишлак... Пересек, пересек, но опять на пути тюльпаны, алые тюльпаны. Алые, как кровь...

Отрывистые голоса:

— Сильней, сильней нажимайте!

— Пинцент! Тампон!

— Засучи мне рукава, Нафис!

— Посмотрел на его руки — уж не коллега ли? Хирург, думаю, а не знает, как перерезать...

Смех, звонкий, как колокольчик:

— А племянник его, племянник! Вот чудак! «Возьмите, — говорит, — кровь, сколько потребуется!..»

— А какой здоровенный! Племянник, конечно...

— Ну вы, кончайте, хватит!

...Приземлился, приземлился! Почему же он не в силах открыть глаза? Неживые руки и ноги! Тяжелые веки... Куда он попал? Кто эти люди? Да-а... Ресницы, ресницы... Сквозь тонкую щелочку пробивается алый луч, похожий на кровь...

— Камалиддин, что с вами?..

Сегодня выписали Музраба-амаки и Ашуга Гариба, днем раньше — Хайбатиллу. После их ухода скучно стало в «палате катастроф». Свободные койки заняли вновь поступившие, которым пока не до разговоров. Один после аварии — чуть живой, другой лежит целыми днями, не отрывая глаз от потолка, и Эльчиев узнает в нем себя в первые больничные дни... Палата катастроф, палата катастроф...

Перед уходом Музраб-амаки подошел к Эльчиеву с таким напутствием: «Теперь надо жить, приятель; и так, жизнь летит — не успеешь оглянуться, а уже помирать

пора!» С сожалением Эльчиев распрошался со стариком, к которому привязался за эти недели.

Была суббота, и день выдался довольно щедрым на посещения — тесть, сосед Юлдаш-ака, Рузиев, Джасура, — и это только в первой половине дня.

Тесть узнал, что он в больнице, вчера, встретив на базаре Камалиддина. В палату он вошел как-то бочком, несмело, и даже прослезился, глядя на бледное, без кровинки, лицо зятя. Он извинился, что не пришел тогда на день рождения: приболела, как на грех, его старуха, а кроме него некому за ней ухаживать — сын и дочь выросли и заняты собственными семьями.

Эльчиев недолюбливал тестя, и тот не питал к нему теплых чувств. Но сейчас старик, на одном дыхании которого когда-то, наверное, можно было подогреть плов — орел — не мужчина! — показался ему жалким. Эльчиев даже пожалел и его, и заболевшую жену. Когда-то монументальный, тесть сидел сейчас сгорбясь, со слезящимися глазами. Судьба, стало быть, не слишком жаловала этого человека, посылая ему одно, но лишая другого.

К обеду Джасура принесла ему самсу, начиненную зеленью, и букетик тюльпанов.

— Я перешла на новую работу, — буднично сообщила она, прибирая у него на тумбочке.

— Куда это? — спросил Эльчиев.

— Да в такой же проектный. Далековато немножко, на Актепе, но ничего, лишних полчаса на дорогу! Дина-апа мне помогла, там у нее знакомый работает.

— Опять Дина-апа! Когда это кончится?! — бросил в сердцах Эльчиев.

— Папа... — сердито посмотрела на него Джасура. — Вы ее не знаете... Она и сейчас со мной пришла, только войти постеснялась. Она часто со мной приходит...

— И что они думают делать дальше? — спросил он после некоторого раздумья.

— Кто?

— Камал и Дина...

— Ничего, — улыбнулась Джасура. — Хотя она любит нашего Камала...

— А он?

— Не знаю. Мне кажется, у него это несерьезно. Скорей из жалости.

— Не понимаю.

— Эх, папа, сложно все... Как объяснить? Дина-апа

хорошая, очень хорошая. Только вот несчастная, бедняжка.

— Так она хочет сделать несчастным и твоего брата?..

— Папа!— воскликнула Джасура, краснея.— А, все равно вы не поймете!

— Ладно, дочка,— сказал Эльчиев растерянно.— Вы уже не дети, сами знаете, что хорошо, что плохо. Шла бы ты, она, верно, заждалась... Да, постой-ка, а Наджмиддин-ака еще не уехал?

— Нет, он вечером к вам собирался.

«Странно,— подумал Эльчиев после ее ухода.— Она его любит, а он нет. Значит, не поженятся. Но почему несчастная?.. Оттого, что разведена, или из-за Камала? А может, она бесплодная? Так чего же Камал не порывает с ней? Странно. Нет, не понимаю!.. Ничего я о них не понимаю...»

Сегодня он впервые вышел во двор.

Эх-хе, вот где весь народ... На улицу высыпали все, кто мог самостоятельно передвигаться. Повсюду мелькают больничные халаты, полосатые пижамы. Да, лежа на койке, он как-то привык считать палату целым миром.

Погода стоит ясная, пахнет свежей зеленью, и к этим запахам примешиваются другие — резкие, сбивающие дыхание. Смешалось, все смешалось. А солнце! Светит, прогревает, нежит цветущие деревья, чирикающих на ветках птах, тонкую травку-муравку...

Какие чудесные краски, как удивительно переливаются... Проведя несколько недель в душной палате, он словно бы заново открывал теперь красоту окружающего мира, от которой голова шла кругом. Чудо, изумрудное чудо; он дышал и не мог насытиться!

Эльчиев медленно пошел по тропке между деревьями. Отекшие и ослабевшие ноги плохо слушались его, то и дело подгибались. Зеленая трава напомнила ему тот далекий год, когда в такую же весеннюю пору хоронили они отца. Через несколько дней братья пришли на могилу, а та уже успела покрыться зеленью. Тогда он несколько не удивился. А теперь зелень показалась ему настоящим волшебством. И не чудо ли, что эти нежные ростки пробиваются сквозь толщу земли! И так каждую весну! К чему она тянется, к чему стремится? К солнцу! Да, к солнцу, а значит — к жизни! К жизни!

Потом он вспомнил свое детство. Вспомнил, как бегал по холмам босоногим мальчонкой, подгоняя прутиком серенькую козочку...

Странно, сегодня он вдруг почувствовал себя ребенком,— все вокруг поражает, и мир как будто бы заново открывается его пытливому взору. И не покидает его радостное ощущение новизны! Ему кажется, что он дремал до сих пор и лишь сегодня пробудился. И широко открылись его глаза...

Да, он дремал! Столько лет, щелкая костяшками счетов, держа в уме бездну всевозможной цифири, ни разу не просчитал в уме собственную жизнь, все было недосуг. Теперь он это понял. Лишь после несчастья мерное течение его сонной жизни — словно дерево молнией — было расколото надвое, ослепительно высветив каждое прожитое мгновение...

О чем думает человек, лежащий в больнице? Конечно же, о выздоровлении. Но разве он, Эльчиев, безнадежно болен? Он потерял много крови — ему сделали переливание, только и всего. Племянник дал свою кровь, родную кровь и перелили. И сейчас он абсолютно здоров. Нет, недуг его не физический, он глубоко в душе, и не поможет ему ни один врач и ни одно лекарство.

Эльчиев никогда не был философом, но наступил миг, и он поставил на весы день настоящий и день прошедший, чтобы представить, каким будет день будущий. Каждый человек сам себе советчик, каждый живет своими представлениями, отстаивает свои убеждения — универсальной дороги для всех нет. И недаром говорится, что каждый человек должен хотя бы раз пережить сильное потрясение, чтобы вдруг широко раскрылись его глаза! А не то вся жизнь так и утечет, как вода меж пальцев.

И вот, перебрав, как старые вещи, прожитые годы, Эльчиев пришел к неутешительному выводу. То, что казалось ему полноценной жизнью, предстало на деле жалким прозябанием. Бегал он по земле таким муравьишкой, заботился о хлебе насущном, перебрасывая на счетах дни и годы. Но разве человек приходит в этот мир лишь для счета дней? Жалкая жизнь!

Да, он боялся жизни, шагая неспешно по ее обочине. Никто не рождается ни храбрецом, ни трусом, им человек становится, и это уже зависит от него самого. Разве не бывает так, что подросток, настоящий сорви-голова в детстве, незаметно превращается в трясущегося от

страха человека, шарахающегося от собственной тени, и тогда вся дальнейшая жизнь его подчиняется страху и только ему. Страху потерять, например... Так и Эльчиев. Встретив свою любовь, боялся потерять ее, потом боялся за детей, за свой покой, за свое тихое место. Ему не хватило мужества и решимости засучив рукава взяться за какое-то большое дело. Он довольствовался тем, что есть, ни к чему не стремился! Он отдался воле волн, и шлюпка его плыла по течению, пока не случился шторм! Налетев на первый же риф, она разбилась вдребезги, а человек превратился в беспомощное существо, не могущее даже постоять за себя, за свое достоинство. Он наказан судьбой, и не это ли ее ответ? Как выразился бы Шамурад-ака: попробуй-ка увильнуть от ответа! Да, ты сам виноват, что жизнь твоя сложилась так, а не иначе, и некого здесь больше винить!

«Так держать, Фархад! Сокол не сокол, если не стремится к вершине!» Почему эти слова поэта не благословили тебя на подвиг? Ты запомнил их, но не осмыслил, не вник в их сущность! Ты, Эльчиев, оказался плохим пловцом! У тебя была шлюпка, были весла, почему же ты не смог ею управлять? Не было силы в руках и огня в сердце? Но чем ты хуже Хайдара Самадовича или Надыра Файзуллаевича?.. В спину дул другой ветер, приятель? Эх, нечего пенять на других, сам виноват. Вот и мучайся на здоровье!

Наверное, ты был хорошим человеком, может, даже с лишком хорошим! Хорошим вообще... А это все одно что плохим. Скромность — хорошее качество, деликатность — тоже, но как походит на подаяние, а то и на оскорбление благодатьность за них... Разве можно жить в расчете лишь на чью-то щедрость — это сомнительная вещь. Она — как тихий ласковый ветерок: приятно, когда дует, но не стоит забывать, что ветер этот может в любой момент и стихнуть. Не лучше ли самому быть в постоянном движении и каждый миг ощущать за спиной попутный ветер...

Да, жизнь ставит немало вопросов, и человек обязан найти на каждый достойный ответ; притом своевременно и без трусливой оглядки. От этого зависит его достойный завтрашний день. В противном случае он может идти лишь по линии наименьшего сопротивления. Таков и был путь, избранный Эльчиевым, путь наиболее легкий и безответственный... Поэтому и не может он ответить на вопрос «как жить?»

За больничной решеткой, чуть поодаль, грохочут на стыках рельсов трамваи, сигналият нетерпеливые таксисты, но никакой посторонний шум не может вывести из раздумий человека в широкой больничной пижаме с подвешенной к груди левой рукой.

Опьяненный дыханием весны, он прогуливается, касаясь рукой шершавых стволов деревьев, и впервые он радуется тому, что не ушел, что жив... И нет больше камня, проклятого камня, что непосильным грузом давил на его сердце.

Когда он вернулся в палату, сосед показал ему на две большие хозяйственные сумки у стены: «Кто-то вам оставил».

...Он открыл глаза и увидел у изголовья какую-то девушку. И знакомая и незнакомая. Он взял ее за руку и поцеловал! Так легко и просто...

Но то было во сне, а наяву он никак не мог вспомнить, кто же та девушка? И кто шепнул ему: «Ты самый дорогой для меня человек». Он мог бы спросить у жены, но как спросишь? Смешно. Почему же сам не может вспомнить? Верно, долго спал. А когда долго спится, память ослабевает...

Пробудившись, но еще не отойдя ото сна, Эльчиев увидел в дверях младшего сынишку. «Сплю?— подумал он и протер глаза.— Нет, это действительно Джалалиддин!» Жена ни разу не брала его с собой в больницу, говорила: «Бойтся»— и вот такой сюрприз!

Эльчиев вскочил с постели и обнял сына.

— А он мог бы брать пример с братишки,— услышался за дверью голос Мастуры. Она вошла, а за ней появились со свертками брат Наджмиддин с Нусратом.— Вот упрямец, говорю ему: идем, а он уперся. Не решается!

— Кто? Камал?— спросил Эльчиев, не выпуская из объятий Джалалиддина.— Ладно, оставь его в покое. Выпишут меня через пару деньков, тогда и свидимся.

Оказалось, что Наджмиддин и Нусрат пришли к нему проститься: завтра они первым рейсом улетали домой.

— Может, приедешь в кишлак, как выпишут?— спросил брат.— Повидаешься с матерью, братьями да и красиво сейчас, весна... Побродишь по холмам, поправишься на деревенских хлебах, а?.. Там тебя давно шашлык дожидается, лично барашка откармливаю!

— Вас сегодня не узнать,— заметила Мастура.

— Я сегодня сделал одно дело, дорогая,— серьезно проговорил Эльчиев.— Большое дело.

— И что это за дело?

— Не скажу,— шутливо помахал пальцем Эльчиев.— Секрет!

Мастура счастливо улыбалась: муж, встретивший их в добром настроении, казался помолодевшим, тьфу-тьфу, только бы не сглазить!

Впервые Эльчиев вышел проводить пришедших проводить его родственников...

— Поживем — увидим,— ответил Эльчиев, смущенно улыбаясь, и что-то шепнул на ухо Джалалидину.

Мальчик рассмеялся.

* * *

Надыр Файзуллаевич в банорасовом халате на плечах возился во дворе, подрезая виноградник. Работалось ему в охотку, и он мурлыкал в нос популярную песенку.

За воротами просигналила машина.

— Взгляни, кто там!— крикнул он сыну.

Тот выбежал на улицу и возвратился, сгибаясь под тяжестью двух хозяйственных сумок.

— Что это за сумки?— спросил Надыр Файзуллаевич, подходя к айвану.

— Не знаю, какой-то таксист... Говорит, один мужчина попросил доставить по нашему адресу. Станный, говорит, в больничной одежде, с забинтованной рукой.

Сумка с длинными ручками была полна разной снеди. Чего в ней только не было? Все, что душе угодно, кроме самой души! И, словно часовые, торчали по углам головки бутылок с минеральной водой.

В другой, также набитой продуктами, Файзуллаев обнаружил сложенную вчетверо записку.

«Простите нас, ака, ради бога. Мы нинарошна. Так ни будим больша. Выздаравливайте.

Ахрор, Шавкат».